

Ксавье ДЕ МОНТЕПЕН

# ЗАМОК ОРЛА



Серия исторических романов

Ксавье де Монтепен

**Замок Орла**

«ВЕЧЕ»

1861

**де Монтепен К.**

Замок Орла / К. де Монтепен — «ВЕЧЕ», 1861 — (Серия исторических романов)

ISBN 978-5-4444-8834-8

XVII век. Франш-Конте, главное яблоко раздора европейских держав, отошло к испанской короне. Жители вольного графства с уважением относились к испанскому королю, не менявшему их жизненный уклад, но терпеть не могли Францию, которая как назойливая муха все время вилась вокруг их границ. Поэтому, когда кардинал Ришелье объявил войну Испании, жители Франш-Конте объявили свою войну Франции. Одним из наиболее известных героев этой войны был капитан Лакюзон. Его любили и знали все в округе, он стал воплощением свободы и олицетворением храбрости. Жители Франш-Конте – люди стойкие, отчаянные. Чтобы отстоять свое право, они готовы пойти на многое, даже захватить в заложники самого Ришелье. Ксавье де Монтепен, один из популярнейших французских писателей конца XIX века, используя факты биографии Лакюзона, рассказывает о драматических событиях войны, которую историки условно называют Десятилетней (1635–1644).

ISBN 978-5-4444-8834-8

© де Монтепен К., 1861

© ВЕЧЕ, 1861

## Содержание

Об авторе	6
Пролог	8
I. Пьер Прост	8
II. Странные гости	12
III. Пролог драмы	17
IV. Эглантина	22
Часть первая	27
I. Трактир в Шампаньоле	27
II. Великая троица	32
III. Затерянными тропами	37
IV. Лепинассу, предводитель разбойников	42
V. О черноволосом юноше и белокуром молодом человеке, а также о правосудии капитана Лакюзона	47
VI. Рауль	53
VII. Тристан де Шан-д'Ивер	58
VIII. Ромео и Джульетта	62
IX. Семейные портреты	67
X. Рауль и Лакюзон	72
Конец ознакомительного фрагмента.	77

# **Ксавье де Монтепен**

## **Замок Орла**

© Алчеев И.Н., перевод на русский язык, 2014

© ООО «Издательство «Вече», 2014

\* \* \*

## Об авторе

Ксавье-Анри Эмон де Монтепен родился 18 марта 1823 года в замке Апремон в землях некогда мятежной провинции Франш-Конте на востоке Франции. Его родители, капитан королевской гвардии граф Анри-Рене Эмон де Монтепен и Мари-Элизабет Боляр, мечтали, что сын станет военным или дипломатом, но юноша не любил дисциплину. Ксавье прослыл выдумщиком, весельчаком и бонвиваном и, как все молодые провинциалы, рвался в Париж, туда, где настоящая жизнь и свобода. Пройдя обучение в Шартрской школе, Ксавье высказал свое категорическое «нет» родителям, а также своему дяде, пэру Франции, и занялся драматургией. Первые пьесы успеха не снискали. Знакомство с маркизом де Фудра, неплохим литератором и прекрасным охотником, привело к сотрудничеству и публикации первых совместных романов – «Рыцари ландскнехта» (1847) и «Кутилы былых времен» (1848).

Поиграв немножко в литературу, Монтепен, которому вот-вот должно было стукнуть 25, был захвачен новой страстью – политикой. 22 мая 1848 года, полный смелых мыслей и идей, он организует сатирический журнал «Лампион», в котором едко жалит и песочит членов временного правительства. Журнал продержался недолго. В июне того же года он был закрыт, несмотря на Конституцию и права о свободе прессы. Недолго погоревав, Монтепен снова обращается к литературе. На этот раз навсегда. С 1849 по 1855 год он публикует около двух десятков книг. Особо писателя не замечали, пока не разразился скандал. В феврале 1856 года за роман «Девушки из гипса» (1855) Ксавье де Монтепена как оскорбителя моральных устоев и приличий вызвали в суд. Через год подобная участь коснется Флобера и его «Мадам Бовари». А сейчас имя Монтепена у всех на слуху. Скабрешные эпизоды из его книги без зазрения совести и в качестве доказательства цитируют судебные газеты. Все возмущены и хотят читать этот роман. Но где его взять? Тираж тоже арестован. Не беда, модный автор полон сюжетов и идей. Один за другим выходят его романы «Замок призраков» (1855), «Жемчужина Палермо» (1855), «Идиот» (1856). К слову, Достоевский, любивший читать французских авторов (Дюма, Сю, Гюго), начнет писать своего «Идиота» лишь через десять лет. Кто знает, не попался ли Монтепен в поле зрения нашего классика?

«Наверное, нет ни одного местечка на всем земном шаре, получающего газеты, где бы имя Ксавье де Монтепена не было хоть отчасти знакомо», – писал один из петербургских журналов начала прошлого века.

Популярность Монтепена росла от книги к книге. Им написано более двухсот романов, опубликовано более двух миллионов печатных страниц. Обладая неумным воображением и любознательностью, наметив план, он работал как заведенный, будучи в состоянии проводить за столом чуть ли не сутки, выводя своим аккуратным почерком километры строк.

«Стало быть, вы никогда не остановитесь?» – спросил его один из друзей. «Никогда! – смеясь отвечал Монтепен. – По крайней мере до тех пор, пока подагра не ухватит меня за правую руку».

За полвека на фабрике его воображения не было ни забастовок, ни безработицы. И если его романы были не так высокохудожественны, как у академиков от литературы, то на это у Монтепена находился свой ответ: «Я пишу просто – так же, как говорю». А собеседник он был занимательный. Это признавали все. «В том-то и дело, что сложнее всего писать не так, как говоришь», – шутил его приятель Деннери, блистательный драматург, автор «Двух сироток».

Во время Франко-прусской войны, будучи избранным на должность мэра городка Фортэ в Верхней Савойе, Ксавье де Монтепен организовал отряд сопротивления, но был захвачен в плен и приговорен к расстрелу. В последний момент пруссаки решили сохранить жизнь «небезызвестному деятелю искусства» и держать его в качестве заложника. Писатель был

сослан в город Брем и вернулся во Францию только по окончании войны. Судьба отмерила Монтепену 79 лет, большую часть которых он отдал литературе.

Среди самых успешных его романов – «Разносчица хлеба» (пьеса по этой книге – одна из самых известных мелодрам в истории театра, многократно экранизирована), «Врач бедноты» (в нашем издании – «Замок Орла»), «Трагедии Парижа», «Фиакр № 13» и многие другие.

Скончался Ксавье де Монтепен 30 апреля 1902 года в Париже.

*В. Матющенко*

### **Избранная библиография Ксавье де Монтепена:**

- «Рыцари кинжала» (Les Chevaliers du poignard, 1860)
- «Замок Орла» (Le Médecin des pauvres, 1861)
- «Пираты Сены» (Les Pirates de la Seine, 1864)
- «Повешенный» (Le Pendu, 1874)
- «Трагедии Парижа» (Les Tragédies de Paris, 1876)
- «Последний из Куртене» (Le Dernier des Courtenay, 1880)
- «Разносчица хлеба» (La Porteuse de pain, 1884)

## Пролог

### Ночь на 17 января

#### І. Пьер Прост

Мы просим наших читателей оказать нам любезность и перенестись почти на два с половиной столетия в прошлое<sup>1</sup> – в начало века семнадцатого, – чтобы посетить вместе с нами старинную провинцию Франш-Конте, принадлежавшую со времен Карла V Испании.

В 1620 году при въезде в небольшую лесистую ложину, простиравшуюся на расстоянии двух-трех мушкетных выстрелов от склона холма, на котором и поныне тут и там ютятся лачуги деревушки Лонгшомуа, располагалось скромное жилище, не то дом, не то хижина.

Домик этот, с виду чуть более просторный, нежели соседние хибары, на самом деле был простеньким, одноэтажным, с двумя комнатами и чердаком.

Огороженный участок вокруг дома был засажен чахлыми плодовыми деревьями, а изгородь из падуба защищала все это хозяйство от нашествия скотины и мародеров. Решетчатая дверь, а вернее, подвижная загородка, закрывавшаяся с помощью весьма несовершенной и вместе с тем довольно хитроумной системы штырей, выходила на задний двор, где бродили, что-то поклевывая, несколько кур, а одинокая коза на длинной веревке, привязанной к стволу груши, пощипывала густую траву. Возле дерева уже образовался круг голой земли, причем такой правильной формы, словно его очертили громадным циркулем.

Сие скромное жилище служило приютом человеку, снискавшему себе глубочайшее почтение обитателей не только Лонгшомуа, но и окрестных деревень, рассеянных в трех-четырех лье по округе.

Этого человека, сына простых землепашцев, который и сам-то был почти что крестьянином, звали Пьер Прост. Он не был богат – как раз напротив, хотя помимо домика держал несколько земельных наделов, что позволяло ему не заниматься повседневным физическим трудом ради хлеба насущного.

Пьер Прост принадлежал к большому семейству, отпрыски которого были помечены Божьей печатью, – о таких людях в день их смерти принято говорить: «Творя добро, прошли они путь земной», невзирая на общественное положение, обретенное ими при рождении по воле случая или Провидения.

Творить добро!.. – таковой и в самом деле была неизменная забота Пьера Проста с младых ногтей, и, даже будучи еще ребенком, он спрашивал себя, что нужно делать, чтобы всегда быть полезным людям, хотя крайняя нужда в средствах и стесняла его в столь благих помыслах.

Благочестивый, даже чересчур набожный, как, впрочем, и большинство крестьян-горцев, живущих вдали от городов и не связанных со светским обществом (что было присуще той эпохе), Пьер Прост поначалу думал стать священником.

Но жили в нем некие безотчетные порывы к независимости, противные непомерно строгой церковной дисциплине. Так что наш юный горец отказался от карьеры врачевателя душ и решил сделаться врачевателем тел.

В восемнадцать лет, умея лишь читать и писать, он подался на учебу в Доле – ныне бедную маленькую супрефектуру, совсем незаметную и потому почти неизвестную, хотя в те времена игравшую весьма важную и заметную роль. Город этот был административным центром

---

<sup>1</sup> Роман написан в 1861 году.



и первым из трех судебных округов Франш-Конте. К тому же там заседал парламент, членов которого назначали Генеральные штаты<sup>2</sup>, а те, в свою очередь, управляли провинцией.

Спустя четыре года упорных трудов Пьер Прост вернулся в Лонгшомуа. Его научные познания вызвали бы пренебрежительные усмешки у нынешних студентов, даже посредственных второкурсников. Но в те времена, в диких, глухих горах Пьер Прост слыл поистине искуснейшим и весьма ученым врачом.

С той поры этот двадцатидвухлетний юноша жил не для себя, а для других. Он стал пользоваться бедняков. Денно и ночью метался он между долинами и горами, неся помощь и заботу всем нуждавшимся и не требуя никакого вознаграждения за выпадавшие на его долю труды и тяготы.

В медицине навык и опыт составляют две трети таланта – посему Пьер Прост, отнюдь не лишенный ума и рассудительности, вскоре стал видным практикующим врачом. На лекарском поприще он добился невероятных успехов, а народная молва превратила их в чудо – иначе говоря, слава врача-крестьянина разрослась так, что его стали приглашать в окрестные поместья и клиентура его вскоре пополнялась за счет их владельцев и владельцев.

Его отнюдь не приходилось упрашивать принять деньги от своих благородных пациентов, однако ж, получив вознаграждение, Прост немедленно передавал его в руки преподобного кюре в Лонгшомуа с просьбой раздать все как подаяние.

Врачи подобного сорта были редкостью во все времена, и я совершенно искренне полагаю, что в наши дни их порода перевелась на корню, хотя, вполне возможно, я ошибаюсь – во всяком случае, мне бы этого очень хотелось.

Наш молодой франш-континец уже лет десять жил жизнью, полной заботы о ближнем и самопожертвования, как вдруг в один прекрасный день он влюбился в девушку из окрестностей Сен-Клода. За душой у этой юной девы не было ничего, кроме ее несравненной красоты, двадцати двух лет жизни и доброго имени, – звали же ее Тьеннетта Левиллен.

Пьер Прост попросил у нее руки и сердца. Ему тогда было тридцать два, хотя на вид можно было дать не меньше сорока – вследствие усталости и всяческих лишений, которые он претерпевал с героической беспечностью. Он был высок ростом, лицо – выразительное и красивое, хоть и опаленное солнцем и иссушенное ветрами, голова – полысевшая, плечи – сутуловатые. Летом Пьер Прост носил простую холщовую коричневатую-серую рубаху. Зимой облачался по-крестьянски: в довольно плотную шерстяную куртку, грубо пошитую деревенской портнихой. В общем, в нем не было ничего, что могло бы прельстить молоденькую девицу, но Тьеннетта Левиллен, лишенная всякой романтики, почла для себя за счастье стать женой врача из Лонгшомуа и с признательностью согласилась.

Свадьбу сыграли 14 января 1618 года. В тот день Пьер Прост понял, какой славой и любовью он пользовался в округе. Бессчетная толпа народу, собравшегося со всех окрестных приходов, теснилась вокруг церквушки, где молодожены принимали венчальное благословение. Когда же они вышли из церкви: он – сияющий от гордости, и она – вся зардевшаяся под белоснежным свадебным венцом, – грянули единодушные возгласы и пожелания молодым самых долгих лет жизни, процветания, прекрасных деток, безоблачного счастья и всего такого прочего...

Разумеется, люди никогда не выразили бы столь горячее, сердечное почтение даже самому председателю дольского парламента, наиглавнейшему из магистратов<sup>3</sup> трех местных судебных округов.

---

<sup>2</sup> Генеральные штаты – высшее сословно-представительское учреждение во Франции с 1302 по 1789 год. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания переводчика.

<sup>3</sup> Магистрат – выборное должностное лицо, член городского управления, а также судья.

Я никоим образом не смог бы описать, какой пламенной радостью и непорочной страстью была полна их супружеская жизнь, причем с самого начала: чтобы воспеть столь сладостную поэму о незапятнанной любви и высшем семейном счастье, нужна лира, а не перо.

Спустя год с лишним после свадьбы Тьеннетта забеременела.

Пьер Прост ждал этого дня с нетерпением, и его легко понять. Больше всего на свете он любил детей, а желание иметь собственное дитя, да еще от обожаемой Тьеннетты, приятно согревало ему сердце.

Но увы! Хотя человек прекрасно знает чего хочет, зачастую некая неведомая рука, словно в насмешку, разбивает вдребезги все его самые заветные желания.

14 января 1620 года, ровно через два года, после их свадьбы, день в день, Тьеннетта скончалась, произведя на свет крохотную дочурку.

Как... – глядя на закрывшиеся навеки прекрасные синие глаза своей возлюбленной, чувствуя последний вздох, слетевший с ее бледных губ, прижимая руку к ее переставшему биться сердцу и понимая, что отныне он навсегда разлучен со своею нежной и чистой спутницей жизни... – как только Пьер Прост не лишился рассудка?..

Это тайна, ведомая лишь Господу Богу.

Можно лишь предположить, что убитый несчастьем горец вспомнил о том, что не совсем один остался он на этом свете и что почившая Тьеннетта вверила ему бедную, слабенькую, тщедушную крошку, ради которой ему стоило жить и бороться.

Как только человек, сраженный ужасающим ударом судьбы, успевает совладать с первыми приступами боли и безумия, этот человек спасен!

Тьеннетта скончалась в одиннадцать часов вечера.

На другое утро, из жуткой борьбы с невыразимыми муками, Пьер Прост вышел победителем. И, казалось, успокоился. Единственно, на лбу у него обозначились глубокие морщины, а глаза наполовину скрылись под дугами набухших век. За одну ночь он превратился в старика: опустошенное лицо, поседевшие волосы.

Первый же крестьянин при виде этого странного, мертвенно-бледного лица, этих хмурых, иссохшихся глаз шарахнулся в сторону, решив, что перед ним призрак.

– Друг мой, – обратился к нему Пьер Прост, в то время как его губы исказила скорбная улыбка, – если ты не признаешь меня, стало быть, горе мое и правда велико... Тьеннетта умерла этой ночью...

Через несколько часов уже вся округа знала, какой внезапный удар обрушился на врача бедняков. Как и в день свадьбы, только на этот раз облаченные в траур, со слезами на глазах, люди из соседних приходов снова собрались вместе, чтобы проводить к последнему пристанищу гроб с бедной юной красавицей.

Вопреки обычаю, Пьер Прост пожелал присутствовать на мрачной церемонии и самостоятельно возглавить похоронную процессию.

Пока двигалось траурное шествие и звучали церковные молитвы, врач держался бесстрастно. И только его лицо нет-нет да и сводила судорога, выдавая душевные муки, которые он силился одолеть.

Но, когда прибыли на кладбище, когда гроб на веревках опустили в свежевырытую могилу, когда первые комья земли с глухим, зловещим шумом, не похожим ни на один другой звук на свете, упали на крышку гроба, Пьер Прост не смог превозмочь горькие рыдания, подкатившие к его горлу из самого сердца и вздыбившие его грудь, как неукротимый северо-западный ветер вздымает океанские волны... Он заткнул рот носовым платком, чтобы заглушить невнятные крики, готовые сорваться с его безудержно дрожащих губ; он пал ниц – распростерся на земле, припорошенной снегом, и уткнулся в него лбом. Снег таял на глазах, пар устремлялся в небо от прикосновения этого пылающего огнем лица.

Когда могилу засыпали, когда отзвучал последний стих «De Profundis...»<sup>4</sup>, многократным эхом разнесшийся по отдаленным горам, Пьер Прост поднялся на ноги.

Он снова успокоился, сумев победить горе во второй раз.

Тогда его обступили женщины. Крепкие молодые крестьянки с розовощеками младенцами на руках, то и дело припадавшими к их пышным грудям. И каждая просила Пьера Проста как об особом одолжении – выбрать ее в кормилицы для дочери.

Врач бедняков горячо поблагодарил их, но в просьбе отказал. Он решил, что бедная малютка, оставшись без материнского молока, не прильнет губами к груди чужой женщины. Кормилицу сможет заменить их домашняя козочка, благо летом та вдоволь щипала траву вокруг грушевых деревьев в саду, а зимой, в небольшом загоне, примыкающем к дому, пожевывала душистое, пахнущее тимьяном и чабрецом сено, скошенное на горных лугах.

Какова бы ни была воля Пьера Проста, селяне, все до единого, давно привыкли считаться с нею и ее уважать. Так что никто из них больше не настаивал, и врач бедняков в одиночестве вернулся в свой осиротевший дом, где еще несколько дней назад его встречали на пороге со счастливой улыбкой и где теперь, когда прошла добрая половина его жизни, у него не осталось ничего, кроме колыбельки у пустого очага...

Но, кто знает, быть может, и эта колыбелька скоро опустеет: ведь оставшаяся без матери крошка, напомним, родилась щедушной и слабенькой. Она словно не цеплялась крепко за жизнь, как другие младенцы, и одна из главных причин, заставивших Пьера Проста отказаться от услуг кормилицы, заключалась в том, что он хотел, и даже чувствовал такую необходимость, сам ухаживать денно и нощно за дочерью, по крайней мере до тех пор, пока малютка хотя бы чуть-чуть не окрепнет, не наберется жизненных сил, которых ей так недоставало.

От кладбища Лонгшомуа до дома врача была какая-нибудь пара шагов по крутой тропинке, петлявшей по склону холма.

Погруженный в свои печали, понуриив голову, безвольно опустив руки, Пьер Прост, совсем потерянный, с потупленным взором, неспешно одолел это короткое расстояние.

Он толкнул садовую калитку, даже не подумав закрыть ее за собой. И прошел в дом.

Его встретил жалобный писк. Малютка плакала.

– Бедное, невинное дитя, – проговорил врач, беря на руки младенца, – ты едва народилось на свет и уже страдаешь от боли!.. О, пусть уж лучше всемиловитый Господь призовет тебя к себе незамедлительно, если однажды на твою долю выпадут те страдания, что сейчас испытывает твой отец!..

---

<sup>4</sup> «Из глубин...» (лат.) – отходная молитва.

## II. Странные гости

Это было на третью ночь после смерти Тьеннетты – с того рокового часа сама природа, будто разделив душевные терзания Пьера Проста, содрогалась в ужасном ненастье.

В ту ночь буран, безудержно бушевавший третий день кряду над вершинами Юрских гор, казалось, разразился с удвоенной силой, его неистовство росло с каждой минутой, с каждым мгновением. Сыпавший без устали снег, временами поднимаясь в огромные белые смерчи, готов был сорваться грозными лавинами с отвесных горных склонов. Он уже завалил чуть ли не доверху долины и встал ледовыми преградами на пути рек, заставляя их обратиться вспять, к своим истокам. Проносясь через леса вековых черных елей, сгибавшихся под его сокрушительным напором, точно податливые жерди, буран бушевал, издавая совершенно невероятные звуки, сливавшиеся в один странный гул. Это походило то на свист сказочных драконов, взмывших на огненных крыльях ввысь и уносимых прочь шальными порывами ветра, то на оглушительные, душераздирающие, полные отчаяния стоны. Такое впечатление, будто стонали сами горы, будто плакали сокрытые за тучами горные вершины, а скалы вторили им протяжными рыданиями.

Вслед за тем слышались непрерывные громовые раскаты, смутно напоминавшие грохот канонады на поле битвы. Было слышно, как, словно в предсмертной агонии, трещат старые ели, надломленные бурей, как они кривятся, а потом, подхваченные незримой силой, разлетаются, точно соломинки.

Было, наверное, часов одиннадцать вечера, по небу бежали громадные, похожие на боевых коней тяжелые черные тучи, затмившие бледное сияние звезд; и, однако, в причудливых отсветах устилавшего землю снега сумерки совсем не казались глухими.

А сейчас давайте проникнем во вторую из двух комнат, составлявших, как мы уже говорили, жилище нашего врача.

Эта комната, довольно просторная, хоть и с низковатым потолком, выходила парой узких окон в огороженный сад. Обставлена она была совсем просто и отличалась от каморок, где ютились самые обездоленные из соседей-селян, только чистотой и опрятностью. Пол покрывали сосновые доски, чуть обтесанные и грубо подогнанные одна к другой. Потолок был обшит такими же досками, только потоньше, подпертыми небольшими неровными балками.

Побеленные известью стены были украшены разве что тремя-четырьмя яркими *картинками* – изображениями святых и мучеников – обрамленными незамысловатыми подписями в стихах.

Очаг, в отличие от традиционных швейцарских шале, домишек, какие принято строить в горах, был устроен не посередине комнаты. В одном из ее углов помещался высокий камин из камней – на его полке, под колпаком, стояла крашенная деревянная фигурка Айнзидельнской Богоматери.

Напротив камина находилась кровать – она была сколочена из легкой древесины и скрыта за сплошным, длинным пологом из зеленой саржи в желтую полоску.

Маленький стол на кривых ножках из старого пиренейского дуба, огромный шкаф орехового дерева с резными филенками (такие шкафы в крестьянских семьях переходили по наследству от матери к дочери, и в них обычно хранили весь домашний скарб), четыре-пять деревянных стульев да пара скамеечек – вот и вся обстановка.

Кроме того, над столиком приладили несколько полок с книгами по медицине, а над полками висело распятие из черного дерева с изящной фигуркой Христа из слоновой кости.

Распятие было подарком от одной благородной дамы, настоятельницы женского монастыря в Бом-ле-Дам, – когда-то она серьезно занедужила, Пьер Прост пользовал ее и в конце концов избавил от болезни.

Корни деревьев, сваленные кучей в топке камина, медленно тлели, не давая пламени угаснуть.

Итак, напомним, было одиннадцать часов вечера – под ударами громадных крыльев снежной бури дом сотрясался и трещал, едва удерживаясь на пошатнувшемся основании. Один ставень, распахнувшись настежь от порыва ветра и едва не сорвавшись с петель, то и дело яростно бился о наружную стену, точно снаряд, выпущенный из катапульты.

Пьер Прост, примостившийся на коленях возле колыбельки, выглядел бледнее, чем в день похорон, когда он шел на кладбище за гробом с безжизненным телом своей Тьеннетты, и даже не слышал оглушительного рева бури, вселявшего ужас в сердца добрых селян Лонгшюмуа и внушавшего им, простодушным, суеверным людям, что конец света уже не за горами.

Склонясь над синюшным, искаженным личиком бедной малютки, врач снова ощутил прилив боли, разбередивший его старые и без того саднящие раны: ибо видел, какую жестокую борьбу жизнь и смерть ведут в хрупком тельце его дочурки. Пьер Прост хорошо понимал, что в этой роковой схватке, где смерть явно побеждает, любые его старания тщетны, любая помощь бесполезна.

Да, малютка обречена! Малютка должна умереть! И могила, недавно принявшая мать, вот-вот разверзнется снова и поглотит дочь! Чтобы ее спасти, чтобы продлить ей жизнь хотя бы на час, понадобилось бы чудо Божье – сродни воскресению!

Пьер Прост не просто верил – он был ревностным христианином; и тем не менее он даже не помышлял о том, чтобы просить Господа о чуде, которое только и могло спасти его дочурку.

В приступе отчаяния, которое душило его, и глубочайшей тоски, терзавшей его, он четко осознавал, что, о чем бы он ни попросил Бога, навряд ли то будет исполнено. Нет, он не поносил и не проклинал руку, нанесшую ему столь безжалостный удар; он не мог ни плакать, ни молиться – он упивался болью даже с необъяснимым горестным наслаждением.

С каждой минутой малютка приближалась к последней черте, за которой не было возврата. От судорожных хрипов страдавшая маленькая грудь резко вздымалась, губы вконец побелели, личико размякло, будто растаяло, точно восковая маска, поднесенная к жаркому огню, а тельце сковывал холод... смерть приближалась!..

Пьер Прост ясно видел это. Чувствовал отцовским сердцем. Понимал умом ученого врача. Он считал мгновения и удивлялся, как это немоющее, едва развившееся тельце так долго сопротивляется страданиям.

Прошло еще несколько минут, и вот ротик малютки чуть приоткрылся для крика – который так и не прозвучал. Ее тельце скорчилось, точно хрупкая веточка, брошенная в пылающий костер, – хрип захлебнулся, всякое движение прекратилось...

Смерть пришла!..

Пьер Прост надолго припал губами к смолкнувшим, похолодевшим устам мертвой малютки, а затем пал ниц, уткнувшись лицом в пол, и, не смеявший молить Бога, чтобы он спас жизнь его кровинке, принялся с жаром просить, чтобы он соединил ее с Тьеннеттой.

И просил он долго-долго.

Его прервал шум – неожиданно-негаданно. Дверь в комнату, где находился Пьер Прост, отворилась.

Он поднял голову и, к своему удивлению, но без страха, увидел перед собой троих незнакомцев, закутанных в широкие черные плащи. Головы странных гостей венчали широкополые фетровые шляпы по тогдашней испанской моде, а лица (что было куда более странно, нежели все остальное) скрывались под масками из черного бархата.

Один из незнакомцев был выше своих спутников на целую голову, и, хотя одет он был так же, как они, в манерах его: в скрещенных на груди руках, блеске глаз, видных сквозь щели маски – было во всем его облике нечто такое, что, кажется, выдавало в нем прежде всего привычку командовать.

Можно было безошибочно утверждать, что эти трое не были равны меж собой. Определенно, один из них был человеком благородным, а двое других – его слуги.

Конечно, появление незнакомцев, да еще в такой час и в такую бурную ночь, могло привести в ужас даже недюжинных смельчаков; но всякий человек, охваченный глубочайшим отчаянием, мгновенно утрачивает страх – оно и понятно.

Так вот, твердым, хотя и ослабшим от пережитых треволнений, голосом Пьер Прост говорил:

– Кто бы ни были вы, добро пожаловать в мою юдоль печали, только скажите, что вам угодно?

Незнакомец, казавшийся хозяином двух своих спутников, которого впредь мы будем называть *Черной Маской*, отвечал:

– Мы ищем человека по имени Пьер Прост.

– Вы у него в доме.

– Стало быть, вы и есть тот самый человек?

– Да, это я.

– Вы занимаетесь медициной и слывете искусным врачом.

– Я действительно врач, хотя и не такой искусный, а ежели Господь порой и направлял мою руку, чтобы облегчить страдания людям, то перевозносить стоит его – не меня.

– Вы нам нужны, – продолжал Черная Маска, – собирайтесь, пойдете со мной.

– В такую-то ночь?

– Дело не терпит отлагательств.

– Это невозможно.

– Невозможно?.. Почему же?

– Потому что сейчас я лишился всего: смелости и силы, и даже веры в Бога. Посмотрите на того, с кем говорите, и поймете – я скорее похож на мертвеца, восставшего из могилы.

– Что же с вами случилось, что ввергло вас в такую печаль?

– А то, чего ни один мстительный злодей не пожелал бы своему самому заклятому врагу. У меня была жена, и я любил ее всей душой, в сто раз крепче, чем самого себя, и она родила мне малютку. Три дня назад два этих ангела еще были вместе со мной, в этом доме, живые и здоровые... Тогда же, три дня назад, скончалась мать, а малютка умерла пять минут назад. Так что сами понимаете, я вправе ответить вам и отвечаю, что разом всего лишился и пойти с вами не могу.

Черная Маска подошел к колыбели и взглянул на ребенка: личико малютки синело на глазах.

– Вы виделись с кем-нибудь нынче ночью? – спросил человек в маске.

– Кроме вас, больше ни с кем.

– Значит, ни одна душа не знает, что ваша дочь умерла?

– Ни одна.

– Вот и хорошо.

– Но, – промолвил Пьер Прост, удивленный подобными расспросами, – вам-то какая печаль?

Черная Маска ничего не отвечал. Он подал знак одному из своих спутников, державшему прозрачный роговой светильник. Тот подошел ближе. Черная Маска обменялся с ним двумя-тремя словами, потом повернулся к врачу и повелительным тоном сказал:

– Дайте ему кирку, лопату или садовую мотыгу – сгодится все, чем рыть землю.

– Все, что вы спрашиваете, лежит в передней. Зачем они вам?

Черная Маска оставил его вопрос без ответа, как и тот, что был задан ему раньше.

Он снова дал знак, и двое его спутников в масках тотчас же вышли из комнаты.

Черная Маска подошел к окну, остановился и, не проронив ни слова, устремил взгляд в сторону сада, где вскоре блеснул слабый огонек рогового светильника, раскачивавшегося на шальном ветру.

Один из слуг держал светильник, а второй меж тем орудовал киркой и мотыгой. Расчистив снег, он принялся копать. Вырытые землю и камни он сваливал по обеим сторонам небольшой ямы.

Покончив с этим делом, люди в масках покинули сад: огонек светильника померк, а через мгновение-другое шум шагов в передней возвестил, что они вернулись в дом.

Пьер Прост снова впал в мучительное оцепенение, будто напрочь забыв, что он не один.

Черная Маска подошел к нему и чуть тронул его за плечо.

Врач даже не вздрогнул – поднял голову, воззрился на странного собеседника и спросил:  
– Что вам еще нужно?

Черная Маска повернулся к колыбели и, указав на мертвое тельце, сказал:

– Желаете сами похоронить или хотите, чтобы сей труд взял на себя один из моих спутников?

– Похоронить мою малютку! – воскликнул Пьер Прост. – Зачем же хоронить сейчас? Ночь впереди долгая, до утра еще далеко, и я не хочу так скоро расставаться с бедным, родным существом!

– Через пять минут, – возразил незнакомец, – это тело упокоится в могиле, только что вырытой для него. Так что поспешите завернуть его в пеленку, и да послужит она ему саваном... а если не хотите, за вас это сделают другие.

И, поскольку врач, казалось, пребывал в нерешительности, один из знакомцев направился к колыбели и занес руку над тряпками, покрывавшими мертвое тело малютки.

Из груди несчастного отца вырвался глухой стон, похожий на сдавленный плач, ибо незнакомец показался ему нечестивым осквернителем, и, бросившись к нему, Пьер грубо оттолкнул мужчину. Незнакомец, не ожидавший такого нападения, положил руку на охотничий нож, висевший у него на ремне. Он непременно пустил бы его в дело, тем более что Пьеру Просту нечем было защищаться, но быстрый жест Черной Маски велел ему остановиться.

Врач схватил хрупкое мертвое тельце, обнял его и прижал к сердцу, словно пытаясь то ли отогреть, то ли заслонить.

– Но зачем же, – пробормотал он, – да, зачем отнимать ее у меня так скоро? Жена и дочурка – это все, что у меня было. Зачем лишать меня скорбной радости, не позволяя сохранить тело хотя бы до утра? Зачем мешать мне оплакивать его хотя бы еще несколько часов?

Черная Маска пожал плечами.

– Ну-ну! Итак, неужто вы полагаете, – возразил он с нескрываемой надменностью, – что я стал бы вмешиваться в ваши семейные дела, не будь у меня на то чрезвычайно важной причины, о которой, впрочем, вам знать без надобности? А время подгоняет... оно не ждет, и надобно с этим кончать! Малютка должна исчезнуть немедленно. Так надо! Так угодно мне! Поторопитесь же, и, повторяю, если вы отказываетесь ее хоронить сами, что ж, клянусь, ее попросту сейчас у вас отберут.

По тону, каким были произнесены эти слова, врач понял, что имеет дело с некоей ужасной, неотвратимой силой и ему ничего не остается, кроме как склонить голову и повиноваться.

Он прикоснулся губами к холодному лобику малышки, на которую еще недавно возлагал такие радужные надежды и которую видел сейчас в последний раз.

Из пеленок он сделал некое подобие савана и сказал Черной Маске:

– Раз вы взяли на себя право навязывать мне свою волю и поскольку вы сильнее, что ж, распоряжайтесь. Я готов. Что прикажете?

– Ступайте за ними.

Пьер Прост безропотно повиновался.

Те двое провели его в сад к свежевырытой могилке. Он упал на колени и опустил мертвое тельце в глубину мрачной опочивальни, после чего один из сопровождавших врача, тот, что был с заступом, принялся забрасывать могилу землей.

Через мгновение лишь неприметный бугорок напоминал о том, что в этом месте была яма.

А буран между тем все крепчал, снег все валил и валил. Было ясно, что к утру все скроется под белым, плотным и везде одинаково ровным покровом.

Но зачем было прятать с такой поспешностью мертвое тело малютки?.. Пьер Прост невольно задавал себе этот вопрос, невзирая на все муки, неотступно терзавшие его, но ответа так и не находил...

Те двое направились к дому, где их дожидался Черная Маска.

Они знаком показали врачу идти впереди. Он опять подчинился, и снова безропотно; ему казалось, будто он игрушка в каком-то жутком, невероятном кошмаре, и он говорил себе: «Я вот-вот проснусь!.. Разбуди меня быстрее, о Боже! Ну давай же скорее, не то я сойду с ума!»



### III. Пролог драмы

Увы, довольно скоро Пьеру Просту пришлось удостовериться, что все, произошедшее этой зловещей ночью, было жуткой действительностью.

– Ну как? – спросил Черная Маска, когда двое его слуг и лекарь вернулись в комнату. – Закончили?

– Да, монсеньер, – последовал ответ.

Черная Маска обратился к Пьеру Просту:

– Послушайте, – сказал он, – и постарайтесь на время забыть свои горести, дабы лучше меня понять! Любой хирургический инструмент, который вы держите в руках, когда оперируете увечных, всего лишь простая, жалкая железка. Она служат вам совершенно бессознательно. И пока от нее есть какая-то польза, вы ее бережете, а когда она портится, изнашивается и становится опасной, вы ломаете ее и выбрасываете подальше. Нынче ночью вам предстоит стать в моих руках инструментом, подобным тем, которые служат вашему ремеслу. Я намерен использовать вас так же, как вы их, и вы будете повиноваться мне так же, как они вам, не пытаясь понять, какова же цель услуги, которую вы мне оказываете. С таким повиновением, живым и смиренным, вам нечего будет опасаться. Вам не сделают ничего плохого, и через несколько часов вы вернетесь обратно к себе, целый и невредимый. Но если только вы попробуете безрассудно воспротивиться, если хоть когда-нибудь попытаетесь отыскать ключ к тайне, которая должна остаться для вас за семью печатями даже после того, как вы согласитесь повиноваться мне нынешней ночью, если ненароком произнесете хоть одно опрометчивое слово – то, пусть через десять или даже двадцать лет, я разыщу вас везде и всюду, где бы вы ни затаились, и попросту уничтожу!.. Не считите мои слова за пустую угрозу. Не забывайте их и не вынуждайте меня хоть раз вспомнить об этом!..

Черная Маска смолк.

Пьер Прост, стоя перед ним, не отводил взгляда от щелочек в лишенной всякого выражения картонке, обтянутой безжизненным бархатом, в глубине которых сверкали глаза его собеседника, подобные паре светлячков, затаившихся в мрачной расщелине скалы.

– Вы меня слышали? – спросил Черная Маска.

– Да, – ответил врач.

– Вы меня поняли?

– Я понял только, что вы намерены взвалить на меня нечто ужасное и мне следует незамедлительно вам подчиниться, а после крепко держать рот на замке, иначе мне несдобровать...

– Верно... Так что вы решили?

– Ничего... по крайней мере пока вы не ответите на один мой вопрос.

– Какой еще вопрос?

– А вот какой. Когда трое в масках – и один из них сеньор – врываются ночью в дом к бедному, неизвестному врачу, простому селянину, и когда один из этих троих – сеньор – говорит селянину: «Если ты не подчинишься, ждет тебя смерть... и если предашь, тебе тоже смерть», – не возможно ли предположить, что врач нужен этому благородному мужу для какого-то злодеяния? Итак, правда ли, что речь между нами идет о некоем злом умысле? От вашего слова зависит и мой ответ. Если моя помощь нужна в черном деле и от повиновения вам зависит моя жизнь, тогда убейте меня сразу... я не подчинюсь!

Черная Маска пожал плечами.

– Э! – вскричал он. – Да вы рехнулись! Вы нужны мне для благого дела, а никак не для злого. Надобно спасти двух человек: женщину, страдающую от родовых мук, и дитя, которое она должна произвести на свет.

Пьер Прост отринул все сомнения.

Распахнул огромный шкаф, о котором мы уже упоминали, и достал оттуда несколько стальных инструментов в кожаном чехле.

– Это все, что вам нужно, чтобы принять роды? – осведомился Черная Маска.

– Да.

– Итак, вы готовы следовать за нами?

– Готов.

– В таком случае мне остается принять последнюю предосторожность.

– Какую же?

– Вот такую...

Сеньор подал знак, и один из его спутников надел на лицо врача бархатную маску без прорезей для глаз.

– Предупреждаю, – спокойно сказал Пьер Прост, – я никак не смогу делать свое дело вслепую, даже принять самые простые роды.

– Глаза вам откроют, когда будет нужно, – отвечал Черная Маска, – идемте!

С этими словами он взял доктора за руку и повел за собой – через переднюю и сад к решетчатой калитке, выходявшей на проселок.

По ту сторону калитки стоял чудной экипаж.

Вы, верно, видели повозки, на которых крестьяне ездят на ярмарки: устроены они совсем незатейливо – длинная тележка на четырех колесах, покрытая сверху плотной тканью, натянутой на ободья.

Пара дивных лошадей черной масти были запряжены в похожую повозку, отличавшуюся от крестьянской лишь тем, что колеса у нее были заменены полозьями. Лошади били копытом о снег и в испуге ржали при каждом завывании все нарастающей бури.

Перед ними стоял какой-то человек – он старался удержать их на месте, схватившись что есть мочи за удила.

На саних, под пологом, валялась пара-тройка пучков соломы. Пьер Прост, все так же ведомый Черной Маской, примостился на одном из них. Его благородный проводник сел рядом, а двое его спутников растянулись у них за спиной; четвертый же незнакомец, тот, что все время находился при упряжке, одним махом вскочил на правую лошадь, схватился за поводья, сани содрогнулись и рванули с места.

Несмотря на две кровоточащие в сердце раны, Пьер Прост отвлекся от мучительных страданий в силу на редкость странных обстоятельств всего происходящего. На самом деле случившееся испугало его не на шутку, несмотря на ободряющие слова Черной Маски.

Подобно тому как головокружительная глубина бездны неумолимо притягивает тело человека, всякая тайна притягивает его мысли. Невольно Пьер Прост принялся размышлять о непостижимом приключении, в котором то ли случай, то ли рок отвел ему некую роль. Невольно пытался он силой мысли пронзить тьму, сгустившуюся вокруг него, и прежде всего ему хотелось знать, куда же его везут.

Врач знал округу как свои пять пальцев: ему была знакома каждая дорога, каждая тропинка, он мог узнать ее хоть днем, хоть ночью, подобно тому, как слепой знает улицы, которыми привык ходить без провожатого, – и, оказись он у своей садовой калитки с завязанными глазами и с палкой в руке, он без труда добрался бы до любого места в трех-четырех лье от дома, какое ему сочли бы нужным указать.

Но сейчас – другое дело. Он не ногами ступал по земле, пытаясь концом палки отыскать знакомый ориентир – дерево или каменистый выступ, а находился в саних, стремглав мчавшихся неведомо куда от его дома. Быть может, его везли в Клерво, что по соседству с Сен-Клодом или Шампаньоном? Ему оставалось только думать да гадать.

Поначалу Пьер Прост пробовал угадать направление по тому, как лошади замедляли свой бег, то поднимаясь, то спускаясь по крутым склонам, которые в горах Юра встречаются

на каждому шагу; но после нового подъема или спуска горячие, крепкие лошади вновь и вновь переходили в галоп, и скорость их бега только росла.

Окованные железом полозья саней прорезали борозды в заиндевавшем снегу с пронзительным свистом, добавляя резкую, долгую ноту в дикую какофонию бурана, звуки которой беспорядочным эхом отражались от содрогающихся горных громад.

Бешеная гонка продолжалась часа два.

Один раз – всего лишь один – Пьеру Просту послышался металлический звон, похожий на набат, пронизавший яростный вой метели. Колокольный звон мог доноситься из Шампаньоля или Сен-Клода, однако ж, где точно били в набат – в городе, деревне или монастыре, сказать точно было невозможно. Впрочем, что если Пьеру это и впрямь только послышалось?

Мысли врача блуждали в лабиринте, где недоставало даже мало-мальски заметной путевой нити, и в конце концов он понял: перебирать в уме догадки – дело и впрямь пустое.

Пьер вздрогнул.

Совсем рядом, скажем, едва ли не в санях, послышался надтреснутый, резкий рев, какой издают пастухи, трубя в бараний рог, когда собирают стадо, рев невероятно громкий, который расслышишь и на огромном расстоянии, даже сквозь рев бури и вой ветра. Определенно, кто-то из его спутников подавал сигнал.

Прошло полминуты – и тут снова послышался трубный гул, уже более отчетливый, хоть и негромкий, прозвучавший где-то вдалеке.

Бесспорно, то был ответный сигнал.

Разгоряченные лошади, подгоняемые кнутом и шпорами, рванули вперед с удвоенной силой, в шальном беге преодолевая остаток пути.

Безудержная гонка продолжалась недолго – не больше четверти часа.

Внезапно сани покатили медленно. По резким толчкам и натужным рывкам можно было догадаться, что упряжка силится взять почти неодолимый подъем: подкованные железом ноги лошадей разъезжались на мерзлой земле; сани то и дело останавливались и даже откатывались назад, и все это сопровождалось непрерывными проклятиями возницы и свистом кнута.

Подъехали к жилищу, расположенному, врач ничуть в этом не сомневался, на высоком плоскогорье.

Чье же это было жилье?

Определиться на местности Пьер Прост так и не смог: в его краях множество старинных франш-контийских замков, подобно орлиным гнездам, горделиво возвышались на безлесых горных вершинах.

Крутой, опасный подъем одолевали долго – наконец загнанные лошади вздохнули свободнее, они сделали еще несколько шагов, и сани остановились.

Трубный глас раздался снова.

Вслед за этим сигналом лязгнули цепи, потом послышался глухой гул опускавшегося подъемного моста, а затем закрипели петли отворяющихся кованых ворот.

Сани покатили дальше, скрежеща и царапая полозьями по мостовому камню.

Дальше ехали под сводом.

И как только миновали его, снова повалил снег, устилая землю. Лошади сделали пятьдесят или шестьдесят шагов, повозка перевалила через следующий подъемный мост и оказалась под другим сводом. Воистину, этот замок разрастался до размеров крепости!

Сани скользили по снегу еще минуту-две, потом остановились.

– Приехали! – бросил Черная Маска.

И, снова подхватив Пьера Проста под руку, помог ему выбраться из саней, как перед тем помог забраться в них.

По вою ветра вокруг и снегу, хлеставшему по не защищенным маской частям лица, врач смекнул, что они оказались на совершенно открытом месте.

Проводник, все так же сжимавшей его запястье цепкими пальцами, попытался ему что-то сказать, но стихия с такою силой бушевала на этой открытой всем ветрам высоте, что слова его тут же растаяли в воздухе, словно невнятный шепот.

Следом за тем Пьер Прост почувствовал, как монсеньор проводник куда-то его поволок, и настолько быстро, насколько позволяли сугробы, в которые они проваливались по колено.

Наконец врач наткнулся на каменный порог и непременно упал бы, не подхвати его вовремя спутник. Перед ними отворилась дверь – вернее, дверца. Такая низенькая, что Черной Маске, прежде чем войти, пришлось сказать врачу: «Пригнитесь!»

Пьер Прост повиновался и, машинально прикрыв голову свободной левой рукой, чтобы ненароком не удариться лбом, ступил в проход под довольно низким сводом.

Черная Маска остановился затворить за собой дверь.

Воспользовавшись короткой заминкой, врач прислушался к дошедшему до него странному, зловещему шуму, хоть и слабому, но отчетливому, – такой ни за что было не спутать с завыванием бушевавшей снаружи бури. То был особенный, пронзительный, нескончаемый хрип – не то приглушенный стон, не то раздирающий душу плач, заглушавший крики агонии.

Врач не испугался, однако в душе его стали пробуждаться давно уснувшие суеверия, которые в те времена были неотъемлемой частью глубоких верований всякого франш-контийского горца, в точности как и любого бретонского крестьянина. «Неужто, – спрашивал он себя, – я оказался в одном из тех странных, таинственных замков, какие злой гений, как говорят, возвел на иных горных вершинах, а этот, в черной маске, что затащил меня сюда, есть сам дьявол?»

Пьер Прост не успел ответить на свой причудливый вопрос.

Черная Маска резко проговорил:

– Через минуту-другую вам придется взяться за дело. Но прежде хорошенько вспомните все, что я сказал вам у вас в доме.

– Я все помню, – возразил Пьер Прост, – как и то, что вам тогда отвечал.

– Повторяю, – произнес Черная Маска, – вы здесь вовсе не для того, чтобы участвовать в злодеянии. Когда женщина пребывает в родовых муках, тот, кому вздумалось бы избавиться от младенца, как вы сами понимаете, не стал бы звать на помощь врача... – смерть пришла бы сама собой!

– Все так, – молвил Пьер Прост.

– Скоро вы окажетесь возле женщины, – продолжал Черная Маска. – Эта женщина вас не знает, как и вы ее, к тому же лица ее вы не разглядите, как и она вашего... Я запрещаю вам заговаривать с этой женщиной, равно как и отвечать ей, если она заговорит с вами! Одно оброненное вами слово, запомните, и вас ждет смерть, а может, и не только вас одного. Поклянитесь же хранить молчание!

– Клянусь!

– Клянётесь ли вы прахом вашей жены и вашей малютки?

– Прахом моей жены и моей малютки – клянусь!

– Держите!

Черная Маска вложил в руку Пьера Проста холодный ствол пистолета и продолжал:

– Я же в свою очередь клянусь прострелить вам голову, если вы нарушите свою клятву.

– Понятно, – ответил Пьер. – И уж коль, как мне думается, это криком кричит та самая несчастная, которую мне предстоит спасать, тогда поторопимся, ибо время не терпит... хотя, может, уже поздно!

– Перед вами лестница, – сказал Черная Маска, снова хватая врача за руку, чтобы поддерживать его во время дальнейшего пути. – Идемте же, а когда будем подниматься, пригнитесь – свод здесь очень низкий.

И он двинулся вперед, первым взойдя на лестницу.

Врач последовал за ним и во время подъема насчитал двадцать две ступеньки. Крики и стоны наверху слышались все отчетливее.

За двадцать второй ступенькой стенающую роженицу и доктора разделяла только толстая дверь.

Черная Маска отворил дверь, подтолкнул Пьера Проста вперед и, проводя его перед собой во внутреннее помещение, напомнил:

– Не забудьте!

С этими словами он развязал шнуры, что удерживали бархатную маску на лице лекаря. Ослепленный сперва ярким светом железной лампы и сполохами углей в огромном камине, Пьер Прост вслед за тем мало-помалу внимательно осмотрел окружавшую его обстановку.

Но и тут, однако, были приняты все меры предосторожности, дабы ничто не запечатлелось в памяти врача – ни одна мало-мальски приметная вещица, чтобы впоследствии он ничего не помнил и не смог признать место, куда его затащили силой.

То была средней величины комната, в которой стояла только кровать из пиренейского дуба, без украшений или резьбы. Стены поспешно завесили коврами изнанкой наружу, чтобы не было видно рисунка. Коврами же покрыли пол и потолок.

Колпак над камином, наверное, с изображением герба, был драпирован плотной тканью. Чугунная каминная доска была совершенно гладкой, подставкой для дров служили два грубо отесанных булыжника.

Железная лампа была самая что ни на есть обычная: такие тогда были в большом ходу в самых обездоленных семьях и встречались едва ли не в каждой крестьянской хижине.

Прямо перед кроватью располагалось окно, вырубленное в толстой стене и завешенное тканью, прибитой к потолку. Впрочем, на дворе стояла глубокая ночь, и даже если бы Пьеру Просту вздумалось выглянуть наружу, он не увидел бы снаружи ничего, кроме непроглядной тьмы.

У изголовья кровати неподвижно стоял какой-то человек. Он был облачен во все черное, лицо его скрывала маска, такая же, как и у троицы, которая увезла врача из дома.

Страж в маске почтительно поклонился благородному незнакомцу – не выпускавшему из правой руки пистолет, к рукоятке которого он заставил прикоснуться лекаря, перед тем как подняться вместе с ним сюда по лестнице – потом посторонился и занял место возле камина.

Наконец в измятой постели Пьер Прост увидел женщину: терзаясь от невыносимых мук, она мотала головой из стороны в сторону, будто в подтверждение слов, с которыми Бог обратился к Еве, гонимой из рая земного: «В болезни будешь рожать детей...»<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Бытие, 3:16.

## IV. Эглантина

На несчастной была не просто маска. Ей на голову натянули и обвязали вокруг шеи капюшон с прорезями для глаз и отверстием для рта, чтобы можно было дышать. Судя по совершенной форме плеч и рук, сжимавших влажные от холодного пота простыни, роженица пребывала в самом расцвете молодости.

Когда Черная Маска, проходя с врачом в комнату, произнес два слова: «Не забудьте!» – лежавшая в постели женщина содрогнулась – она перестала кричать и словно окаменела.

Каким же безжалостным, верно, был ее палач, если даже самая боль, словно разумное существо, сочла за лучшее замолчать, затаиться при его появлении?

Черная Маска направился к кровати:

– Сударыня, – медленно проговорил он, – со мной здесь врач, он примет у вас роды. Его, как и вас, предупредили, что, если вы обменяетесь между собой хоть словом, обоих вас ждет смерть... Помните об этом!

И, обращаясь к Пьеру Просту, он прибавил:

– А теперь за дело, эскулап. Исполните свой долг.

Пьер Прост не стал мешкать.

Сейчас же, думается, нам стоит набросить покров на эту мучительную сцену. Ибо надобно обладать пером Бальзака – тем самым золотым пером, что вывело восхитительные страницы повести «Проклятое дитя», чтобы достойно описать подобное действо. Заметим лишь, что ни хладнокровия, ни мастерства нашему врачу было не занимать – и спустя час он уже принял на руки бедное крохотное существо, издавшее первый свой крик.

В то же самое время изможденная мать упала без чувств на подушки.

– Мальчик или девочка? – осведомился Черная Маска.

– Девочка, – ответил Пьер Прост.

– Черт бы меня побрал! – проговорил незнакомец.

– Где пеленки? Ее нужно укутать, – продолжал врач.

– Пеленки? – переспросил незнакомец. – Надо же, никто и не подумал... Впрочем, это легко исправить.

С этими словами он подошел к оконному проему и, оторвав от скрывавшей окно драпировки большой кусок белого полотна, передал его Пьеру, сказав при этом:

– Вот, держите, за неимением ничего другого, сгодится и это.

И врач со всем старанием запеленал младенца.

– Теперь, – продолжал Черная Маска, – займитесь-ка матерью, а то как бы она не испустила дух.

Одна рука лежавшей без чувств молодой женщины безжизненно свешивалась с постели.

Пьер Прост прощупал пальцами вену у нее на запястье.

– Ну что? – спросил незнакомец, даже не пытаясь скрыть полное безразличие. – Она жива? Мертва?

– Жива, – через мгновение отвечал врач, – но, боюсь...

– Чего?

– Боюсь, у нее произошло сильное кровоизлияние в мозг, а это чревато летальным исходом.

– Можете его предотвратить?

– Вероятно.

– Каким образом?

– Незамедлительным кровопусканием.

– Что ж, валяйте! Вам никто не мешает.

– Для начала надо бы удостовериться, что я не ошибся с диагнозом. Мне нужно взглянуть на лицо этой женщины – можно?

– Нет, черт возьми! – вскричал Черная Маска, непримиримо топнув ногой. – Нет, нельзя! Вас что, разбирает любопытство? Коли так, пеняйте на себя!

– Не любопытство, – возразил Пьер Прост, – а необходимость. В положении этой женщины кровоупускание может ее спасти, но может и убить. И только по лицу я могу определить это точно, а не строить досужие домыслы.

– Повторяю, вы не должны видеть ее лица. Это невозможно! Невозможно, слышите? Невозможно! Займитесь лучше кровоупусканием, раз считаете, что это ей поможет, да поскорей!

– А если она умрет по моей вине?

– Что ж, если она умрет по вашей вине, – со зловещей усмешкой ответил Черная Маска, – вам будет не за что себя корить, ведь вы старались сделать все возможное, полагаясь на свои познания. К тому же, что бы это ни было – преступление или грех, пускай и то, и другое останется на моей совести.

– Тогда велите принести мне таз и бинты, – промолвил врач, – попробую пустить ей кровь и буду молить Бога, дабы он сделал все, чтобы моя рука не стала рукой убийцы.

– Молите, молите! – воскликнул Черная Маска. – Не возражаю, и если не Господь, то, может, дьявол вас услышит.

При этих кощунственных словах Пьер Прост перекрестился.

Черная Маска расхохотался.

Он подал знак человеку у камина, и тот, приподняв угол перевернутого задом наперед полотнища, прибитого к стене, скрылся за дверью, о существовании которой наш врач до сих пор и не подозревал.

Через минуту человек вернулся с медным тазом.

В его отсутствие Черная Маска оторвал от белого полотнища другой кусок, из которого Прост сделал бинты.

В углу комнаты, лежа на ковре, застилавшем пол, жалобно пищал младенец.

Снаружи вовсю неистовствовал буран. Крохотные оконные стеклышки позвякивали в своих ячейках, дрожали свинцовые рамки.

Все было готово. Пьер Прост перетянул чуть выше локтя руку молодой женщины, так и не пришедшей в себя, и проткнул ей вену.

Поначалу кровь вытекла медленно, по капле, потом заструилась быстрее и вот наконец брызнула длинной алой струей. Пьер Прост собирал кровь в медный таз. Мгновение спустя грудь роженицы поднялась с глубоким вздохом.

– Она приходит в себя, – сказал врач, – опасность миновала, по крайней мере то, чего я только что опасался, не случится.

Молодая женщина пошевелилась, словно пытаясь приподняться, и чуть слышно прошептала:

– Ребенок... где мой ребенок?

Черная Маска тотчас подошел к ней.

Он приложил палец к своим губам, призывая к молчанию Пьера Проста, пока тот забинтовывал отрезками ткани вену несчастной, чтобы остановить кровотечение, и сказал:

– Ваша дочь выжила, сударыня, и будет жить дальше, во всяком случае, до тех пор, пока вы сами не обречете ее на смерть, пытаясь на нее посмотреть.

– Покажите... покажите!.. О Боже, неужели вы хотите ее у меня отнять?

– Да, сударыня.

– И я ее больше не увижу?

– Никогда.

Из-под мрачного капюшона слышались глухие всхлипы, но уже через мгновение бедная молодая мать продолжала:

– Позвольте мне хотя бы разок поцеловать ее... всего лишь один раз, прежде чем разлучиться с нею навсегда. Ах, знаю, вы бездушны, мессир... у вас совсем нет сердца... но неужели вы настолько черствы, что откажете мне в просьбе поцеловать мою дочь?... Только один поцелуй!

– Что ж, поцелуйте, – отвечал Черная Маска, – только ни единого слова!

И, обращаясь к Пьеру Просту, он прибавил:

– Передайте ей младенца!

Врач повиновался.

О, какие же безумные объятия последовали за этим! То был миг настоящего исступления, когда бедная мать смогла наконец прижать к сердцу и облобызать свое дитя, это слабенькое, пищащее создание, которое она не могла видеть и уже никогда больше не приласкает!

И все время, пока она покрывала младенца пылкими поцелуями, Черная Маска выказывал все нарастающее, жгучее нетерпение. Вот уже он открыл рот, собираясь приказать Пьеру Просту, чтобы тот отнял ребенка у матери и унес его прочь, но тут случилось неожиданное, и несчастной матери была дарована короткая отсрочка.

Новый порыв ветра сильнее других, с оглушительным свистом, переходящим в вой, с ужасающей силой хлестнул по крепким стенам замка, подобно громадной океанской волне, обрушившейся на скалы Пенмарка<sup>6</sup>.

Оконные ячейки не выдержали его натиска – стеклышки выпали из треснувших рамок и разбились на тысячи осколков. В комнату тут же ворвался ветер; безудержным потоком он хлынул к камину, подхватил пылающие уголья и, точно жалкие семечки, разнес их по всей комнате, тотчас наполнив ее густым дымом.

Вот уже полыхнул ковер на полу, да и сам пол загорелся местами – начинался пожар.

Неизбежная опасность – пламя, раздуваемое жестоким бураном, – заставила Черную Маску на миг отвлечься от прочих забот. Он кинулся тушить, топча ногами, горящие тут и там уголья.

Пьер Прост, улучив короткое мгновение, молнией бросился к постели и, склонившись над роженицей, прошептал:

– Не убивайтесь, бедняжка, я позабочусь о малютке...

Женщина ничего не ответила; она лишь стиснула руку врача, сунув в нее что-то совсем крошечное.

Лампа погасла – едкий, удушливый дым от горящей ткани сгустился в плотную мглу. Пьер Прост не смог разглядеть вещицу, которую ему передали столь поспешно, и тут же спрята-  
тал ее у себя на груди.

В эту минуту к нему подошел Черная Маска – взгляд у него был тревожный и подозрительный.

– Вас здесь больше ничего не держит, – сказал он, – ступайте отсюда!..

И, грубо вырвав новорожденную крошку из рук матери, крикнул слуге в черном, который молча наблюдал за всем происходящим:

– Возьмите младенца и спускайтесь вниз, мы – за вами.

При этом он снова завязал на враче глухую маску, и тот опять мгновенно ослеп.

– Идемте! – продолжал он, хватая доктора за левую руку.

И тут, как оно порой случается в чрезвычайных обстоятельствах, сознание Пьера Проста, точно яркая вспышка, осенила внезапная мысль.

---

<sup>6</sup> Пенмарк – мыс на западном побережье Франции, в Бретани.



На полу, у его ног лежал полный крови медный таз. Наш врач это знал. Он быстро нагнулся, как будто оступившись, и окунул свободный кулак в таз с кровью. Черная Маска решил, что врач и впрямь споткнулся, и, подхватив его, потащил прочь из комнаты.

Спускаясь по лестнице, Пьер Прост, как и при подъеме, отсчитал двадцать две ступеньки.

Внизу он вскинул свободную руку, в точности как прежде, но на сей раз не для того, чтобы прикрыть голову, а чтобы оставить на своде отпечаток своих окровавленных пальцев.

Черная Маска ничего не заметил.

– Вы исполнили все, что от вас требовалось, – сказал он, остановившись, чтобы отворить низенькую дверцу, за которой, как было слышно, завывала метель. – Вы сослужили мне службу и за это достойны награды.

– Я ничего не прошу, – ответил Пьер Прост, – и ничего не хочу.

– Я не из тех, кто пользуется чужими услугами даром! – надменно бросил незнакомец. – Впрочем, я полагаюсь на вас еще кое в чем. Вот, держите.

С этими словами он вложил в руку врача холщовый мешочек, довольно тяжелый.

Потом продолжал:

– Это золото поможет поднять вашего ребенка.

– Увы! – проговорил Пьер Прост. – Вы же знаете, моя малютка умерла.

– Она жива, – возразил Черная Маска медленно, но твердо. – И помните, пусть события этой ночи останутся для вас сном, который, когда проснетесь, вам надобно забыть... Несколько часов назад вы были в своей хижине вместе с девочкой, вашей малюткой, и она спала в колыбели. Через несколько часов вы вернетесь обратно, и рядом с вами будет спать малютка, ТА ЖЕ САМАЯ, так что со вчерашнего вечера вы никуда не уезжали из Лонгшомуа. Теперь понимаете, почему я сказал, что ваша дочь жива?

– Да, – ответил Пьер, – понимаю. Вы хотите, чтобы все думали, что новорожденная девочка – моя дочь, которую я потерял. Хотите, чтобы моя бедная дочка оставалась живой и впредь.

– Хочу. Так вы согласны?

– Согласен. И не только для видимости, а еще и потому, что бедной сиротке нужно отцовское сердце.

– Глядите, и коли вам дороги покой и ваша шкура, зарубите себе на носу: одно опрометчивое слово – вам конец, и не только вам одному, повторяю.

Затем Черная Маска отворил низенькую дверцу и повел нашего врача сугробами к тому месту, где ждал экипаж, запряженный свежими лошадьми.

Пьера Проста закинули в сани – двое в масках примостились у него по бокам. Ему передали в руки новорожденную малышку, закутанную в грубошерстную накидку, так называемый дорожный плащ, которыми пользуются крестьяне.

Лошади тронулись.

Перевалили через пару подъемных мостов, проехали под двумя сводами – и вот упряжка с головокружительной быстротой понеслась вниз по крутому склону, по которому перед тем они взбирались больше часа, а теперь спустились за несколько минут.

Когда сани остановились возле Лонгшомуа, еще не рассвело; метель мало-помалу улеглась, хотя снег продолжал валить густыми хлопьями.

Наш врач не знал, что они уже приехали: несмотря на шальную гонку он ошибочно полагал, что они только на полпути до его дома.

– Где мы? – спросил он у своих спутников, велевших ему вылезать.

– Сейчас увидите, – ответил один из них.

И, когда Пьер Прост выбрался из саней, прибавил:

– Вам приказано снять маску только после того, как вы прочтете по пять раз «Отче наш» и «Радуйся!..»<sup>7</sup>.

– «Отче наш, Иже еси на небесех!..» – начал наш врач.

Тут он услышал пронзительный скрежет санных полозьев, рассекающих мерзлый снег. Скрежет быстро удалялся.

Отчитав пятикратно «Отче наш» и «Радуйся!..», Пьер сорвал с себя маску.

Решетчатая садовая калитка его дома находилась в двух шагах от него.

С печалью на сердце он вошел в свой осиротелый дом. В опустевшей было колыбельке лежала малютка. Врач отправился за козой – и бедная малышка жадно припала губками к набухшим соскам чернорогой кормилицы.

Насытившись, крошка уснула.

Пьер Прост наконец смог вымыть окровавленную ладонь и рассмотреть таинственную вещицу, которую сунула ему в руку несчастная незнакомка. Это был медальон тонкой золотой чеканки с изображением маленькой дикой *розы*, выложенной бриллиантами. А в холщовом мешочке, который дал ему Черная Маска, лежало десять тысяч ливров<sup>8</sup> золотом – громадная сумма по тем временам.

На рассвете какой-то местный крестьянин пришел справиться у врача о здоровье его дочурки, поскольку люди знали, что она совсем слабенькая и почти уж не жилец.

– Спасибо, сосед, – ответил Пьер Прост, – ей уже лучше, гораздо лучше, так что, надеюсь, выживет.

У него были все основания верить в это.

Через несколько недель малютку, еще недавно такую бледную и хиленькую, было уже не узнать, настолько она оправилась и окрепла.

Она обещала стать в один прекрасный день – как говорят крестьяне – *ладной красоткой!*..

Единственно, всеобщее изумление и шум в округе вызвала новость, что врач (самый что ни на есть добрый христианин), вместо того чтобы наречь дочурку именем какой-нибудь святой, назвал ее в честь цветка – Эглантиной<sup>9</sup>!..

---

<sup>7</sup> Имеется в виду «Радуйся, Матерь Божья!» – начало вечерней католической молитвы.

<sup>8</sup> Ливр – старинная французская монета.

<sup>9</sup> Eglantine (фр.) – роза эглантирия, дикорастущий цветок.

## Часть первая

### Солдат поневоле

#### I. Трактир в Шампаньоле

Здесь необходимо дать короткую историческую справку о положении во Франш-Конте в 1638 году, то есть спустя восемнадцать лет или около того, после роковой ночи на 17 января 1620 года – ночи, о зловещих событиях которой мы рассказали в прологе нашей книги.

Мы любезно просим наших читателей не пренебрегать следующими краткими подробностями.

Итак, Франш-Конте, как мы уже знаем, принадлежала Испании со времен Карла V.

После смерти Филиппа II она составляла часть приданого его дочери, инфанты Изабеллы Клары Евгении, которая вышла замуж за эрцгерцога Альберта Австрийского. В дарственной оговаривалось, что, буде принцесса умрет, не оставив после себя наследников, все ее достояние снова отходит к Испанскому дому.

У Изабеллы Клары Евгении не было детей, и в силу названного положения около 1634 года Франш-Конте отошла к новоиспеченному королю Филиппу IV.

Франш-Конте тогда делилась на три судебных округа: округ Амон, округ Аваль и округ Доль.

Главными городами трех этих округов были Везуль, Безансон и Доль. Провинцией управлял парламент, назначавшийся Генеральными штатами, и заседал он, как мы знаем, в Доле.

У Франш-Конте, хотя она и принадлежала к испанской короне, свободы было предостаточно. Она сама вводила налоги, которые равноценно распределялись по всем округам. Испанский же король довольствовался тем, что получал соль из местных соляных рудников и денежные пожертвования, исчислявшиеся более чем двумя сотнями тысяч ливров в год. Кроме того, провинция должна была поставлять своему сюзерену по призыву четыре хорошо вооруженных и оснащенных полка.

В обмен на эти повинности контийцы наделялись правом получать высочайшие чины и звания. Их преданность Испании была безгранична, равно как и благорасположение к ним испанской короны.

С другой стороны, контийцы ненавидели Францию и самое название «француз», и с 1635 по 1668 год они исправно доказывали свою ненависть, героически противостоя захватническим планам своих могущественных соседей.

16 мая 1635 года великий кардинал Ришелье – под предлогом, что испанский вооруженный отряд неожиданно-негаданно напал на город Трир, союзный Франции, и что Безансон дал прибежище герцогу лотарингскому Карлу IV, лишенному владений стараниями Людовика XIII, – объявил Испании войну.

28 мая 1636 года Конде<sup>10</sup> во главе двадцатитысячного пешего войска и восьми тысяч всадников взял в осаду Доль. Принца сопровождал полковник Гассион де ла Мейерэ, главнокомандующий артиллерией.

Город тогда доблестно защищали: советники Буавен, Берер и Луи Петре, из Везуля, инженер Жан-Морис Тиссот, храбрый майор де Верн, капитан де Граммон, Жирардо де Бошмен, адвокат Мишути и капрал Доннеф. В то же время французов беспокоили партизанские отряды барона Сезара Дюсэ д'Арнанса и капитана Лакюзона.

---

<sup>10</sup> Имеется в виду Конде, Луи II де Бурбон (1621–1686) – французский принц, военный деятель.

14 августа 1636 года при подходе Карла Лотарингского принцу Конде пришлось снять осаду.

На следующий год герцог де Лонгвиль<sup>11</sup> поднял мятеж в южной части Франш-Конте, поразив ее огнем и мечом, когда на севере Бернгард Саксен-Веймарский во главе шведского войска опустошил тамошние земли подчистую.

В таком положении пребывала многострадальная провинция в то время, когда наш рассказ получил продолжение, миновав промежуток в восемнадцать лет.

Однажды, в хмурый, холодный декабрьский день 1638 года, когда колокола отзвонили «Ангелус»<sup>12</sup>, по главной улице городка Шампаньоль, что в верхней Франш-Конте, мерно покачиваясь в такт шагу уставшего коня, ехал всадник, плотно закутанный в полы коричневого плаща.

Залаяли собаки – редкие горожане высыпали на порог своих домов, заслышав цокот конских копыт, и с удивлением и любопытством провожали взглядами путника.

Верховой подъехал к дому, выглядевшему побольше и получше соседних. Над главным его входом раскачивался пучок сушеных папоротников, а на побеленной стене проглядывала надпись, выведенная черными буквами:

### **«У КАПИТАНА ЛАКЮЗОНА.**

Вернье, хозяин трактира, предоставляет еду и питье, продает отруби, овес и муку из отрубей. – Достойный приют как пешему, так и конному».

«Вот и отлично!» – подумал всадник.

И, ловко спешившись, крикнул негромко, но звонко:

– Эй, хозяин!

На его зов из дверей трактира вышел мужчина лет пятидесяти пяти – шестидесяти, еще крепкий, несмотря на возраст, и высокий. Он сказал в ответ:

– Я и есть хозяин, которого вы спрашиваете, мессир. Надобно ли вашему коню стойло?

– Да. И не забудьте бросить ему подстилку погуще и фуража заправьте побольше, да двойную порцию овса: хочу, чтоб обходились с ним лучше, чем со мной.

– Еще бы, правда ваша, мессир! – отвечал хозяин. – Человеку дан язык, чтоб приказывать и требовать обслуживания, а лошади остается довольствоваться лишь тем, что ей дают, – бедная скотина! Выходит, кому как не хозяину должно заботиться, чтоб его добрый слуга содержался в достатке, а уж ваш-то заслуживает и впрямь царского обхождения. Породистая животи́на, – истинное сокровище! – и двужильная, видать.

– Да вы, как я погляжу, знаете толк в лошадях, не так ли?

– А то! Точно, знаю. Точнее не бывает. Никак, пятнадцать лет отслужил в кавалерии. Спросите хоть самого полковника Варроза, кто такой есть Жак Вернье. Кто знает, может, я еще и вдену ногу в стремя, хоть мне и пятьдесят восемь... К тому же в конюшне у меня стоит Серушка, отчаянная такая кобылка, уж она-то мне еще послужит, будьте покойны... и кобурные пистолеты не настолько заржавели, чтоб отдраивать их до блеска и чтоб с полсотни шагов не всадить пулю в живот какому-нибудь шведу или серому... Ну да ладно, поживем – увидим, и да здравствует капитан Лакюзон!.. Вы, верно, заметили, мессир, что я вверил мой двор его опеке, и да заберет меня дьявол или Бернгард Саксен-Веймарский, ежели сей покровитель хуже других и так уж неугоден доброй святой Деве Марии и великому святому Якову, коих я

---

<sup>11</sup> Имеется в виду мятежный герцог Анри II Орлеанский (1595–1663).

<sup>12</sup> «Ангелус» – молитва, обращенная к Богородице, или колокольный звон, призывающий к этой молитве.

почитаю всем сердцем! Да и капитан Лакюзон тоже праведник – может, и он станет мучеником. Мучеником свободы!

Нетрудно догадаться, что Жак Вернье, этот верный и добрый, но словоохотливый патриот, решил не давать волю своей болтливости прямо посреди улицы.

Лишь отведя коня новоприбывшего гостя в конюшню – к стойлу, он всецело предался столь милой радости чесать языком, притом беспрерывно.

– Вот, – продолжал он после совсем недолгой паузы, поднося к глазам следовавшего за ним всадника здоровенную кучу овса, – взгляните на это зерно, мессир! Прекрасное, налитое и чистое, как слеза. Из последнего урожая – лучше не сыщешь! Такое достойно даже лошади Карла Лотарингского и коня самого Лакюзона!

Путник отдал должное исключительному качеству овса, но особое уважение и полнейшее расположение Жака Вернье он живо снискал себе тем, что не преминул восхититься округлым крупом и крепкой статью Серушки, ее широкой грудью, лоснящейся шкурой и жилистыми ногами.

После пространных рассуждений о высочайших достоинствах своей несравненной кобылы почтенный трактирщик прибавил:

– А теперь, мессир, когда у вашего коня есть и подстилка, и корм, ничто не мешает нам позаботиться и о вас... Может, закусите?

– Охотно.

– Времена нынче тяжкие, народ редко куда ездит, вот уже неделю с лишним у меня не было ни одного постояльца, да и в кладовке моей, боюсь, пусто. . .

– Не берите в голову. Найдется краюха хлеба – мне и этого довольно.

– О, для вас, мессир, и кое-что посытней найдем. Будет вам и холодная похлебка из кукурузной муки, сало и яйца, и курица – вот только шею ей сверну, и головка горного сыра, а чтоб запить все это, будет вам и бутылочка старого арсюрского вина, самого лучшего на свете, как вы, верно, знаете!

– Хозяин, – с улыбкой заметил путник, – да вы совсем не похожи на своих собратьев-трактирщиков. Говорите, что нечем меня потчевать, и тут же обещаете закатить царский пир, меж тем как ваш брат имеет привычку сулить золотые горы, а на самом деле облагодетельствовать самыми жалкими крохами...

– Эх, правда ваша, мессир, – отвечал Жак Вернье с выражением праведной гордости, – так оно и есть, клянусь честью. Все очень просто. Собратья мои сидят под вывесками – то «Лебедь и Крест»<sup>13</sup>, то «Золотое солнце», то «Великий святой Мартин», что ни к чему не обязывает. Они обещают то, чего не могут дать, – что ж, имеют право. Но, когда имеешь честь, как я, написать на стене трактира «У капитана Лакюзона», надо быть последним прохвостом, похлеще шведа или Серого, чтоб не соответствовать... «Положение обязывает!» – говорят благородные люди, и они правы. А я, простой трактирщик, перенявший эту поговорку на свой лад, скажу так: «Вывеска обязывает!» – и я прав, черт возьми!

Путнику оставалось только всецело согласиться с рассуждениями трактирщика. И, выразив свое согласие словом и жестом, он последовал за Жаком Вернье в дом.

Вместе они прошли в кухню.

Напротив входной двери помещался высокий и широкий камин из серого камня, колпак над очагом украшало множество разнообразных вещей: длиннотвольный карабин, висевший горизонтально на двух крючьях, раскрашенная гипсовая статуэтка, изображающая святого Якова Компостельского, пара малость поржавевших седельных пистолетов, о которых уже упоминал трактирщик, самшитовая ветка с последней Пасхи и, наконец, большая кавалерийская сабля.

---

<sup>13</sup> Намек на созвездье Лебеда, или Креста.

Дверь слева от камина вела в «печную». Так в те времена называли во Франш-Конте, да и называют по сей час, помещение, смежное с кухней и обогреваемое одной каминной печью.

За другой дверью, справа, в темноте виднелись нижние ступени деревянной лестницы, что вела на верхний этаж. Наконец, третья дверь сообщалась с сараем, откуда тянуло ароматным сеном.

На голой, побеленной известкой стене, висела на четырех гвоздях с широкими шляпками большая, хотя и совсем незатейливая, размалеванная синими, красными, желтыми и зелеными красками картинка. На рисунке был изображен покровитель приходской церкви. Каждый год в день какого-нибудь местного праздника к трактирщику приходил деревенский музыкант с украшенной лентами скрипкой, снимал старую картинку и вместо нее вешал новую, точно такую же, а взамен получал пригоршню мелочи – от всего хозяйского сердца. То был взнос, впрочем, совсем необременительный, который, по традиции, взимался со всех франш-контийских крестьян, бедных и богатых.

У противоположной стены осел огромный сервант из полированного ореха – от возраста и дыма он почернел и походил на вековой дуб. На шкафу стояли сверкавшая серебром оловянная посуда и кое-какие фарфоровые статуэтки, простенькие и милые, которые любители того, что принято называть «безделушками», и среди них автор этой книги, сегодня ценят на вес золота, когда посещают аукционный дом на улице Дроу.

По обе стороны серванта была развешана кухонная утварь, в том числе охваченные блестящими железными обручами кадушки из довольно мягкого соснового дерева.

Наконец, обстановку кухни завершали два длинных стала, окруженные табуретами на трех ножках.

Полка, подвешенная к потолку с двух концов, прогнулась под тяжестью полудюжины круглых буханок пеклеванного хлеба.

На железном крюке под колпаком камина висел толстый шмат копченого сала; с поперечных шестов, вдоль неотесанных деревянных потолочных брусьев, свисали початки белой кукурузы, которую во Франш-Конте коротко называют «туркой».

Так выглядела типичная кухня деревенского трактира в 1638 году – такой сохранилась она и до наших дней.

В кухне суетилась молодая служанка во франш-контийской косынке на голове; облаченная в коричневую кофту из бумазеи поверх дешевой шерстяной юбки в полоску, спускавшейся до крепких лодыжек в синих чулках, она сновала туда-сюда, сотрясая пол тяжелыми, обшитыми овчиной деревянными башмаками, скрывавшими ее широкие, плоские ступни.

Она бегала от камина к столам, от столов – к серванту, то проверяя содержимое чугунок внушительных размеров, в котором что-то нещадно бурлило, то протирая с чисто мужской силой сосновые половицы, то переставляя с места на место тарелки и тарелки – одним словом, выглядела она уж больно занятой, хотя на самом деле ничего такого не делала, поступая сообразно с похвальной и неизменной привычкой, свойственной прислуге всех времен и всех трактиров на свете.

Когда в кухню вошел путник, следовавший за Жаком Вернье, служанка застыла как вкопанная, потом сделала легкий реверанс и вперила в новоприбывшего своими маленькими глазками, которые тут же расширились от любопытства.

– Эй, послушай, Жанна-Антония! – крикнул трактирщик, разгневанный поведением молодой служанки. – Очнись-ка да подбрось лучше добрую охапку хвороста в камин, вместо того чтобы стоять здесь столбом да пялиться на благородного сеньора, ты с ним свиней на пару не пасла.

– А что тут такого, хозяин? – весело возразила Жанна-Антония. – Даже собака имеет право смотреть на епископа...

– Ладно! Ладно! Делай что велят, да попридержи язык.

– Да будет вам, сейчас иду. И все едино собака имеет право...

Жак Вернье раздраженно топнул ногой и таким образом оборвал на полуслове старинную франш-контийскую поговорку.

Служанка прикусила язык и, пожав плечами, отправилась за требуемой охапкой хвороста.

Как только она вышла, трактирщик рассмеялся. Определенно, девица не с самым большим почтением относилась к своему хозяину, а он к ней за такое совсем не придирался.

Поспешим здесь же добавить, что наш трактирщик был вдовцом, и это многое объясняет...

– Молодо-зелено, – проговорил он, – да и ума ни на грош, не говоря уже о воспитании, хотя порядочности и честности нам не занимать. В доме ни соринки, все блестит и сверкает сверху донизу, а случись такая надобность, то мы и пальнуть из ружья можем хоть в шведа, хоть во француза, ей-ей, не вру!.. Да вы присаживайтесь, мессир, вот на этот табурет, поближе к огоньку, да обогрейтесь. Через минуту, когда дурашка подбросит хворосту на уголья, огонь разгорится на славу, яркий, как весенний денек, и красный, как петушиный гребешок.

Между тем путник стянул с себя широкий плащ, в который кутался, и черную фетровую шляпу, с загнутым кверху полем и пером цапли в петлице. Бросил шляпу с плащом на один из столов и подошел к камину.

Это был высокий молодой человек лет двадцати трех – двадцати четырех, красивый, даже слишком, с длинными светло-русыми волосами, волною вившимися у щек. Его отличали безупречный овал лица, немного бледная кожа, правильные, тонкие, по-женски мягкие черты, и если б не шелковистые усики с лихо закрученными вверх кончиками – чисто по-мушкетерски, и главное – если б не пламенный, решительный, даже дерзкий взгляд его больших темно-синих, затененных длинными изогнутыми ресницами глаз, красоте которых могла бы позавидовать любая дама, можно было бы подумать, что перед нами переодетая женщина.

Костюм его напоминал одновременно военный мундир и платье благородного сеньора. На нем был серый камзол, короткие бархатные штаны и сапоги с отворотами, украшенные серебряными шпорами.

Сбоку у него, на сыромятной перевязи, расшитой зеленым шелком, висела длинная, широкая шпага, могущая послужить грозным оружием в ловкой и твердой руке.

Чтобы завершить этот наскоро очерченный портрет, добавим, что ноги и руки всадника отличались изяществом, безусловно, свойственным представителю особого, благородного сословия.

«Вот это, – думал Жак Вернье, пока молодой человек шел к камину, – это вам настоящий сеньор, что так же верно, как и то, что капитан Лакюзон есть величайший человек на свете! И не видать мне места в раю, коли я ошибаюсь, а я верно говорю, да-да, это точно, клянусь всеми чертями в преисподней!»

## II. Великая троица

Вскоре объявилась и юная служанка, откликавшаяся на изящное имя «Жанна-Антония», она несла на плече огромную вязанку хвороста, под которой казалась совсем маленькой.

Когда в камин подбросили веток, пламя занялось с новой силой; задорно потрескивая, оно живо озарило всю кухню и заиграло яркими отблесками на лепнине серванта, на выступающих краях оловянной посуды и округлых формах фарфоровых безделушек, раскрашенных в самые невероятные цвета.

Покуда путник устраивался у огня, Жак Вернье с шутками да прибаутками подгонял славную девушку, и не думавшую поторапливаться: она неспешно накрыла на стол, свернула шею курице, разбила яйца для омлета, бросила шматок сала в чугунок с кипящим варевом, спустилась в погреб за бутылкой арсюрского, сплошь облепленной паутиной, – словом, делала все сообразно горделивому девизу трактира: «Вывеска обязывает», – обещавшему многое, и даже больше.

Путник, положив ногу на одну из подставок для дров, опершись локтем на колено, а подбородком – на руку, пребывал в глубокой задумчивости и, казалось, не замечая того, что делалось и о чем говорилось вокруг.

Он очнулся, вздрогнув, только когда трактирщик громким и звонким голосом воскликнул:

– Обед на столе, мессир, и смею заверить, он вас не слишком разочарует.

– Верю-верю, добрый мой хозяин, – отвечал молодой человек, поднимаясь. – Тогда, может, составите мне компанию и пропустите со мной стаканчик столь достойного винца?

– О чем разговор! Ну конечно, мессир! Еще ни разу в жизни я не отвечал отказом на учтивое обхождение. Хоть вы благородный сеньор, а я мужлан, полковник Варроз, однако, уверяет, и я с ним заодно, что старому солдату не грех чокнуться со всеми сеньорами на свете...

– Такое способен сказать лишь человек с трезвой головой и добрым сердцем. Между тем я уже второй раз слышу от вас это имя. Так кто же он такой, этот ваш полковник Варроз? – полюбопытствовал незнакомец.

Жак Вернье бросил на собеседника глупый от удивления взгляд.

– Вы, мессир, – следом за тем сказал он, – вы, должно быть, чужак, прибыли издалека...

– Верно, я здесь чужой, – с улыбкой отвечал молодой человек, – и прибыл издалека.

– Вы, часом, не француз?

– Нет.

– Может, швед?

– И даже не швед.

– И вы не за шведов и не за французов?

– Не за тех и не за других, уверяю вас.

– Вот и чудесно! Что ж, мессир, полковник Варроз входит в нашу великую троицу.

– Какую же троицу вы имеете в виду?

– Я говорю о Варрозе, Жан-Клоде Просте и преподобном Маркизе, трех наших героях, трех знаменитостях!

– А капитана Лакюзона вы к ним не причисляете?

– Лакюзон и Жан-Клод Прост – один и тот же человек. Пост – его имя. А Лакюзон – прозвище. Вы что, и впрямь не в курсе того, что у нас творится, мессир?

– Насколько мне известно, Франш-Конте славно сражается за свою независимость и вот уже два года как отчаянно сопротивляется Франции, своему грозному, могущественному врагу.



– Да, мессир, и французский кардинал, красное преосвященство Ришелье, бросил против нас свои войска сперва под началом Конде, а после – Виллеруа. Но, поскольку им этого было мало, французы наняли полчища шведов под водительством старого адъютанта Густава Адольфа<sup>14</sup>, растрептанного герцога Саксен-Веймарского.

– Знаю.

– А известно ли вам, что, покуда Конде, этот великий военачальник, принц королевских кровей, пятился от стен Доля, предводитель шведов, этой шайки разбойников, разорял наши горные селения, предавая все и вся огню и мечу, убивая детишек и стариков, надругался над девками и бабами, обратил каждый город в груды развалин, а каждую деревню – в кучу пепла?

– Позор! Позор! Настоящие воины так не воюют.

– Да какие же они воины – сущие разбойники и душегубы!.. А дальше дело было так: наши горцы, наши крестьяне вдруг подняли головы, которые им намеревались отсечь. От вершины горной к вершине, от дола к долу разлеталось слово «свобода», его передавали из уст в уста, эхом разнося повсюду. И вот дикий и могучий народ бросил свои поля и леса и взялся за сошники да топоры – вместо оружия. Так поднялось целое войско, и не какая-нибудь шайка разбойников с большой дороги, ничего подобного, ей-богу! Ни один человек из входивших в него не был наймитом – каждый сражался за свою Родину, свой дом и семью. Выходит, это и есть настоящие воины, не в пример французишкам да всяким шведам, черт бы их всех побрал!..

– И несомненно, – прервал его путник, – Варроз, Лакюзон и Маркиз втроем возглавили это войско?

– Угадали, мессир. Сперва наши франш-контийцы выбрали себе в военачальники Жана Варроза, старого солдата, славного, что ваша шпага, искалеченного в двадцати сражениях за время беспрестанных господских междоусобиц, а испанский король произвел его в полковники. Я и сам служил под началом Варроза, мессир, и по праву этим горжусь! Случись вам ненароком повстречаться с ним, скажите ему про Жака Вернье. Варроз взялся сколотить кавалерию, и ему это удалось как ни одному французскому маршалу. В помощники же себе Варроз взял лейтенанта – Жан-Клода Проста, который скоро с ним сравнялся, а то и превзошел его. Ему, нашему капитану Лакюзону, только двадцать два года – вроде как совсем юнец! А на самом деле – мужчина. И какой! Предводительствует нашими партизанами-горцами, их отрядами командует. И как командует! А как они любят его! Причем все без исключения, и все-все, от первого до последнего, готовы за него хоть в огонь, хоть в воду... Да здравствует капитан Лакюзон!

– Но откуда у него это прозвище – *Лакюзон*?

– Поскольку Жан-Клод Прост беспрестанно заботился о надлежащем порядке в рядах своих партизан и думал о спасении нашей провинции, он часто пребывал в заботах и хлопотах – а слово *лакюзон* на здешнем наречии означает *радение*, вот сподвижники и прозвали его меж собой – *радетелем*. Так что через пару годков, думаю, все забудут Жан-Клода Проста, потому что в народной памяти он навсегда останется капитаном Лакюзоном.

– А что третий? Преподобный Маркиз?

– Он кюре из деревушки Сен-Люпицен, что рядом с Сен-Клод. Добрый христианин, исправный служитель Божий и настоящий франш-контиец. Но главное – он не робкого десятка и с головой на плечах. По призванию – святой. А по храбрости – солдат! А какая умница! Все твердят – министр французского короля, важный кардинал!.. Ха-ха! Да будь наш преподобный Маркиз кардиналом и министром, Ришелье, знамо дело, и в подметки ему бы не сгодился! Наш Маркиз сражается за Франш-Конте со всяким оружием, какое есть у человека и священника. Он сражается мечом и молитвой! И когда ведет в бой наших горцев, в левой руке у него рас-

---

<sup>14</sup> Густав II Адольф (1594–1632) – шведский король.

пятое, а в правой шпага. Он взывает к Богу и разит, и Бог, в награду за молитвы, дарует его шпаге победу. Видели бы вы его в такие мгновения – с обнаженной головой, с распущенными волосами, в багряной рясе, подпоясанный кожаным ремнем... ведь перед сражением он всякий раз облачается в красную рясу – она-то и служит ему броней, другой защиты у него нет. Говорят, будто пули отскакивают от этой кроваво-красной рясы, как от стальных нагрудных лат.

– О, вы вправе так говорить! – горячо воскликнул чужак. – Эти истинные патриоты – троица героев, и земля, которая видит их во главе своих защитников, может до последнего предсмертного вздоха надеяться, что будет жива и свободна!

– Но предсмертный вздох не прозвучит никогда! – возразил Жак Вернье. – Это так же верно, как и то, что мы прямо сейчас поднимем стаканы за здоровье Лакюзона, а после я самолично спущусь в подвал за другой бутылочкой, и она будет постарше этой лет на пять-шесть, никак не меньше.

Путник ударил краем стакана о кубок трактирщика – они разом пригубили благородное вино, сверкавшее, точно расплавленный рубин, и потом еще не раз повторяли в один голос:

– Здоровье капитана Лакюзона!..

Чуть погодя Жак Вернье спустился в подвал за обещанной второй бутылкой, вернулся к столу, сел напротив молодого гостя, и беседа, прерванная на мгновение, возобновилась.

– А из каких же мест во Франш-Конте родом капитан Лакюзон? – спросил путник.

– С наших гор, мессир, с наших гор! – с гордостью воскликнул трактирщик. – Жан-Клод Прост родом из деревушки Лонгшомуа, что в паре лье отсюда. Дом, где он появился на свет, стоит в Шан-су-ле-Дэм, на опушке рощицы, – это между дардэйской мельницей и деревенькой Комб, и ни один крестьянин, с тех пор как здесь запыхали войны, не пройдет мимо этого дома, не сняв шляпы и не прочитав «Отче наш» и «Радуйся!..», чтобы пожелать капитану Лакюзону долгих лет жизни и счастья!

– У него большая родня?

– Нет, в том-то и беда. Хоть Просты и не благородного происхождения, род их крепкий и честь их не запятнана. Они, все как один, люди порядочные!.. Но нынче капитан Лакюзон один как перст, один-одинешенек!

– И что, у него нет ни брата, ни сестры?

– Жан-Клод был единственным сыном в семье, и ему было от роду года три или четыре, когда почил его матушка, а следом за нею, года через два, умер и отец.

– Неужели у него совсем не осталось родственников?

В голосе чужака, когда он обратился к трактирщику с последним вопросом, нетрудно было уловить легкую дрожь. Жак Вернье отвечал:

– Остался один, брат его отца, Пьер Прост, в здешних местах его еще называли «врачом бедняков».

– И конечно, дядюшка живет вместе с ним...

– Нет, у бедняги Пьера грустная история, хотя человек он ученый и благородный.

– Грустная?

– Да, как мыкал он горе, так и мыкает.

– Что же у него случилось? – спросил молодой человек, заметно побледнев и поставив на стол полный стакан, который собирался пригубить.

– Лет семнадцать-восемнадцать назад Пьер Прост спровадил на погост жену, которая только-только родила ему дочь. Беда, похоже, довела его до помешательства, и проявилось это довольно скоро, а началось все с того, что он, будучи человеком умным и здравомыслящим, назвал свою дочурку Эглантиной, хотя мог бы назвать Жанной-Антонией или Жанной-Марией, или Жанной-Клодиной, как все. Но это еще пустяки – потом такое было!.. Прошло два или три года, и вот одним чудесным утром в дверь к Пьеру Просту постучал лабазник с мельницы в Дардэ, он вывихнул себе руку, когда грузил мешок с зерном.

– Ну, – проговорил путник, – что потом?

– А дальше ничего, не дождался наш лабазник ни ответа, ни привета, оно и понятно. Ночью врач бедняков вместе с дочкой, бросив дом, как в воду канули. Никто так и не узнал, что с ними случилось, да и родной брат Пьера, похоже, знал не больше других.

– Что дальше?

– Так вот, дальше прошло бог весть сколько времени – лет пятнадцать или шестнадцать, может, чуть больше, может, чуть меньше, а о нашем враче все ни слуху ни духу. Думали, уж не помер ли. Братец его никогда не поминал его имени.

– И что дальше? – снова повторил чужак, который, затаив дыхание, выслушивал все эти подробности, казавшиеся ему, впрочем, незначительными. – Дальше-то что?

– И вот наконец в прошлом году Пьер Прост объявился в наших краях.

– С дочерью?

Трактирщик покачал головой.

– Нет, мессир, – отвечал он, – был он один, то-то я и говорю, как мыкал он горе, так и мыкает. Эглантина, кажись, померла.

– Умерла!.. – глухим, изменившимся голосом проговорил путник, и лицо его сделалось и вовсе мертвенно-бледным. – Умерла!.. Но где?.. Как?..

– Бог его знает. Слух прошел. Люди добрые мне сказали, а они, сами понимаете, слышали от других. Что до меня, я им верю, хоть и не так, как Евангелию, но не стану утверждать, что те, кто передали мне эту горькую весть, меня не обманули, потому как они и сами могли обмануться, слушая других.

Путник ничего не отвечал: казалось, он уже ничего не слышал.

Покуда досточтимый Жак Вернье произносил последние слова, молодой человек сидел, опершись локтями на стол и закрыв лицо руками, – если можно было бы проникнуть взглядом сквозь его сомкнутые пальцы, мы увидели бы две крупные слезы, застывшие на кончиках длинных ресниц, прикрывавших его синие глаза.

Трактирщик примолк, вопреки неумной словоохотливости, свойственной его почтенной братии, встал из-за стола, заметив, что чужаку угодно помолчать, снял с крючка один из кобурных пистолетов, висевших по обе стороны от статуэтки святого Якова Компостельского, и присел на скамеечку под каминным колпаком. В свободные минуты он с удовольствием предавался чистке оружия с помощью горстки пепла и двух-трех капель машинного масла.

Так прошло с четверть часа.

Путник поднял голову.

Бледность так и не сошла с его лица, и под глазами появились темные круги.

– Добрый мой хозяин, – молвил он, – давайте, с вашего позволения, рассчитаемся, и я поеду дальше.

– Уже, мессир? Так ведь ваш конь вряд ли успел насытиться и дух перевести. Клянусь всеми чертями, негоже загонять такую добрую животину.

– Пора в путь... так надо.

– Трактир мой – не темница, мессир, ко мне приходят по своей воле и уходят так же. Да только я о коне вашем забочусь, черт возьми! Вот дам ему пить, оседлаю, взнуздаю – и да хранит вас Господь! В добрый путь! И да избавят вас святой Яков Компостельский и капитан Лакюзон от неугодных встреч! Разве что этим я и могу услужить, мессир.

– Ошибаетесь, добрый мой хозяин, вам под силу куда больше.

– Что же?

– Вы можете дать мне проводника.

– А куда вы путь держите, мессир?

– Мне нужно в Сен-Клод.

Жак Вернье в изумлении хлопнул в свои широкие ладоши.

– Помилуйте! – воскликнул он вслед за тем. – Неужто прямо в Сен-Клод?

– Да. Только что тут удивительного?

– А то, что живым вам туда никак не попасть. Вас прикончат, едва вы одолеете две трети пути. Такие вот дела.

– Прикончат, говорите? Кто же и за что? Растолкуйте.

– Запросто. Кто? Шведы или серые. За что? За ваш кошелек и коня, а еще за ваше платье.

– Но, – возразил путник, – я думал, военные действия временно приостановлены и оккупационные войска убрались восвояси, на зимние квартиры.

– Так бы оно и было, несомненно, если б не граф Гебриан, французский сеньор, продавшийся шведам. На прошлой неделе. На прошлой неделе он снова объявился в горах с большим отрядом и взялся за старое – опять начал чинить разбой, надругательство и пожары. У него в руках теперь вся округа, от Нозеруа до Сен-Клода, да и в самом Сен-Клоде он хозяйничает уже как два дня. Так что сами видите, мессир, раз вы не швед и не француз, стало быть, дела ваши плохи.

Молодой человек горько, чуть ли не в отчаянии всплеснул руками.

– Нигде мне не везет! – прошептал он.

Потом, уже громко, прибавил, будто говоря самому себе:

– Даже если мне живым туда не попасть, все едино. Чего, в конце концов, стоит моя жизнь и кто станет меня оплакивать? Да-да, кто? Добрый мой хозяин, – продолжал он, обращаясь к Жаку Вернье, – повторяю, я еду в Сен-Клод и мне нужен проводник.

– Право же, – вслух заметил тогда трактирщик, – честное слово, я умываю руки!.. Да где такое видано!.. Увы!.. Тут уж ничего не попишешь... Тот, кто умеет воспользоваться добрым советом, стоит двух. Но ежели он не внемлет совету, разве виноват тот, кто этот совет дает? К тому же полковник Варроз не советовал мне, как уберечь глупца от его глупости, хотя он и сам навряд ли знает как. Впрочем, как Богу будет угодно. Кто собирается с завязанными глазами сигануть с самой вершины Девичьей скалы, прекрасно знает, что живым ему не бывать. Каждый сам за себя в ответе, ей-богу! А за шведов с их сексен-веймарцем пусть отвечает сам дьявол!

Завершив свой нравоучительный, загадочный монолог, Жак Вернье наконец сообразовал ответить на просьбу путника.

– Вы хотите проводника, мессир, но он вам без надобности, – сказал он.

– Вы забываете, я не знаю здешних краев.

– Без разницы. Езжайте по дороге, что ведет мимо моего трактира, все время прямо. Потом все в гору да с горы, в гору да с горы... так и доберетесь до Сен-Клода.

– Боюсь, как бы не наткнуться по дороге на помянутые вами напасти. Неужели нет ни одного объездного пути?

– Есть один – через Морбье, Орсьер долину Морез и Лонгшомуа.

– Ну и как?

– Только это едва проторенная тропа, в иных местах еле-еле проходимая во всякое время года, особенно для всадника, а зимой, когда она чуть проглядывает из-под снега, и подавно.

– Дорожные тяготы меня совсем не пугают. Я так считал и считаю: с волей и решимостью никакие физические преграды не страшны. Так что пожалуйста мне проводника, и я незамедлительно трогаюсь в путь.

– Ну хорошо, хорошо, мессир, – ответил трактирщик, – я исполню вашу просьбу, но, перед тем как свернете себе шею, не забудьте себе сказать: «Не повинен в этом добрый Жак Вернье, как только ни предостерегавший меня от нападений!» – и это будет чистая правда.

### III. Затерянными тропами

Хотя намерение молодого путника показалось Вернье самой чудной и несуразной из всех глупостей, тем не менее хозяин вышел за порог своего трактира и отправился на поиски проводника.

Как только незнакомец остался один в кухне, которую мы описали и в которой ему так и не случилось отобедать, он перестал бороться с терзавшей его ужасной, мучительной тревогой; на его лице и в отчаянных жестах выражалось глубокое уныние, завладевшее его душой и помыслами.

– Умерла! – шептал он. – Умерла!.. Значит, я ее больше не увижу, дорогую мою, нежную голубку, мою возлюбленную Эглантину. А коли так... если, как они говорят, она оставила этот мир, зачем мне теперь жить и что я отныне буду делать на этой земле, без нее?

Потом, через мгновение, будто желая ободрить себя, он прибавил горячо и убежденно:

– Но нет, нет! Быть того не может! Эглантина жива. Я знаю, чувствую! Разве мои настоящее и будущее не связаны с ее жизнью неразрывными узами? Разве внутренний голос кричал мне: – Эглантина умрет!.. Разве кольнуло мне в сердце, когда она умерла? Разве в снах, ставших для меня неотступными видениями наяву, не видел я, что душа ее является мне, такая же прекрасная и чистая, как она сама, увенчанная первозданными цветами?.. Нет-нет! Не может быть. Эглантина жива. Скорее же в путь! Надо все узнать. Нужно повидаться с тем, кто только и может сказать мне правду. О, Лакюзон, Лакюзон, мой герой, нынче не тебе, а мне больше пристало называть себя *радетелем*!..

При столь причудливом повороте мысли наш путник улыбнулся: это показалось ему добрым знаком. Он подумал, что на душе у него было бы куда горше, будь Эглантина и правда мертва.

Тут в кухню вошел Жак Вернье.

За ним следовал деревенский мальчуган лет двенадцати-тринадцати, с бледным, худощавым лицом, обрамленным длинными, густыми и белесыми, как мочало, прядями. Чересчур длинный для своих лет и до смешного щуплый, мальчишка походил на те тощие деревца, которые при свежей вырубке местами оставляют – пусть себе живут, так сказать, для подростка. Ноги у него тоже были длинные и тонкие, – точно у цапли – как, впрочем, и руки, которыми он размахивал на ходу, будто мельничными крыльями. Однако лицо его выражало решимость, отвагу и рассудительность.

Платье на нем, совсем уж неподходящее для такой лютой стужи, состояло из драной курточки, прикрытой козлиной шкурой; его короткие штаны, сплошь в прорехах, были просто неприличны и производили то же впечатление, какое произвел бы мальчик из церковного хора, спой он за аналоем куплеты на стишки Грессе<sup>15</sup>.

В руке «проводник» сжимал шерстяную шапку в белую, зеленую и красную полоску; его деревянные башмаки на босу ногу были набиты соломой.

– Мессир, – сказал трактирщик, – это Никола Паже, сынок дядюшки Паже, моего кума и достойнейшего христианина. Малыш совсем не глуп, много чего может, и будь он постарше года на четыре или пять, из него вышел бы славный кандидат в партизаны к Лакюзону. Говорю, как на духу. И за один экю он проведет вас верной дорогой. Так что доверьтесь ему, я за него отвечаю, а если Жак Вернье за кого отвечает, за его поверенным можно идти с закрытыми глазами, ей-ей! Вы лучше у полковника Варроза спросите!

---

<sup>15</sup> Грессе, Жан-Батист Луи (1709–1777) – французский поэт и драматург, автор многочисленных юмористических стихотворений, в которых он высмеивал монастырские обычаи и нравы.

– Я от всей души принимаю услуги вашего юного протеже, – ответил путник. – За такое симпатичное личико можно дать не один экю, а целых два.

– Никола, – воскликнул трактирщик, – скажи спасибо благородному сеньору и помоги мне взнуздать его коня!

Через пять минут, щедро расплатившись по счету, молодой незнакомец сел в седло.

Пока Жак Вернье желал ему удачи и доброго пути, Жанна-Антония, черноглазая служанка, стоя на пороге со скрещенными на пышной груди руками, пожирала глазами красавца всадника.

Тот же, мало-помалу отъезжая, расслышал, как трактирщик гневно вскричал:

– Ну, скажи на милость, негодница эдакая, неужели благородный сеньор тебе чем-то обязан, что ты стоишь тут и глазеешь на него, вместо того чтобы начищать посуду?

В ответ Жанна-Антония с нескрываемой насмешкой повторила свою любимую поговорку:

– А что такого, хозяин, даже собака имеет право смотреть на епископа. Ну а посуда ваша никуда не денется.

Определенно, Жак Вернье не был полноправным хозяином в собственном доме.

А что вы хотите от вдовца!

\* \* \*

Неизвестный путник, к которому, надеюсь, – возможно, по ошибке – мои читатели начали испытывать некоторый интерес, не подгонял коня, чтобы его не утомлять, а может, чтобы попросту не обгонять Никола Паже, который, обрадовавшись возможности заработать пару экю, шел вперед, без усталости размахивая своими длинными руками.

Была, наверное, половина третьего, когда всадник с проводником выбрались из Шампаньоля.

Небо, хмурое и мрачное, затянуло тяжелыми серыми тучами; по земле стелилась полупрозрачная дымка, изменявшая контуры предметов, но не скрывавшая их от взора совсем.

Земля промерзла, и конь, двигаясь по проселку, звенел копытами так, будто ступал по мостовой.

Мальчуган оглашал рождественский сельский воздух задорным посвистом.

Всадник был погружен в свои раздумья, которые открылись нашим читателям чуть раньше в его взволнованном монологе, так что нетрудно догадаться, какова была их природа и сколь извилисто было их русло.

Через два часа пути, проделанного в молчании, незнакомец и Никола Паже оказались у опушки довольно густого мелколесья. Дорога уже давно начала суживаться и в конце концов превратилась в тропинку, по которой с трудом могли бы пройти бок о бок два человека.

В этом месте и сама тропинка как будто обрывалась.

Мальчуган остановился.

– Ну, – спросил всадник, – что такое?

– Вам надо спешиться, мессир, мы подошли к Морбьерскому лесу, дальше вы сможете вести за собой коня только под уздцы, а идти будет трудно: тропка через лес совсем узкая.

Незнакомец в точности последовал указаниям проводника – и двинулся следом за ним к лесной тропинке.

Перед тем как войти в чащу, мальчуган набожно перекрестился.

– Почему ты крестишься? – полюбопытствовал его спутник.

– Потому что поговаривают, мессир, будто в Морбьерский лес приходят совокупляться оборотни со всей округи.

– Ты что, боишься оборотней?

– Нисколечко, мессир, потому как, знамо дело, они ничего не могут супротив человека безгрешного, творящего крестное знамение.

– А сам-то ты видел оборотней?

– Ни разу в жизни. Зато батюшка мой видал однажды, аккурат после того, как исповедался, – и проклятое отродье ничего ему не сделало.

Идти дальше становилось все труднее, и едва начавшийся разговор прервался. Переплетенные ветви заслоняли тропинку на каждом шагу. Господину с большим трудом удавалось их раздвигать, и все равно время от времени они нещадно хлестали его по лицу.

Надвигалась ночь. Довольно резкий и холодный ветер, разгулявшийся с наступлением сумерек, разогнал тучи, скопившиеся за день, и на прояснившемся небосводе, над самым горизонтом, показалась полная луна, большая и красная, как окровавленный щит.

Несмотря на все крепчавшую стужу, незнакомец, хотя ему пришлось сбросить с себя плащ и привязать его к седлу, чувствовал, как по его лицу, стекая со лба, ручьем льется пот.

– Слышь! – вдруг окликнул он проводника. – Это ж не дорога, а бог знает что. Здесь сам черт ногу сломит.

– Чего не скажешь о лесорубах да угольщиках, – ответил мальчуган. – Жители Шампаньоля, когда им нужно в Сен-Дени, идут в обход через Клерво. Но Жак Вернье сказал, что вам было угодно идти этой дорогой.

– Мы вперед-то хоть продвигаемся?

– Еще бы! Ежели не пятимся назад, значит, хоть сколько-то, а продвигаемся.

– А когда выберемся из леса?

– Через час или около того – может, чуть раньше, может, чуть позже.

– Скажи только, ты точно знаешь, что не заблудился?

– О, за это ручаюсь. В Морбьерском лесу я не заплутаю даже с закрытыми глазами. Я частенько хожу сюда по весне за дроздовыми яйцами.

– По крайней мере, – тихонько усмехнулся путник, – здесь мы уж точно никого не встретим – ни злодея, ни благодетеля, только это и утешает.

Паренек, однако, все слышал.

– Ах, мессир, – сказал он, – на Бога надейся, а сам не плошай. Везде хватает и таких людишек, и сяких, которым и скверные дороги нипочем, взять хотя бы *серых* Лепинассу-Прилипалы или *коников* капитана Лакюзона.

– А кто такие *серые*?

– Шайки из Бресса и Бюге, у них там заправляют двое – Лепинассу-Прилипала и Чернявый, и грабят они всех без разбору.

– А почему ты назвал сподвижников капитана Лакюзона *кониками*?

– Потому что их все так называют. Почем я знаю?

Мальчишке было неведомо то, что известно нам. Слово *коник* – уменьшительное от *континец*, то есть франш-континец.

Между тем незнакомец продолжал:

– Где же сейчас капитан Лакюзон?

– Да кто его знает.

– Как это? Неужели никто не знает, где его искать?

– Везде.

– Что это значит?

– Когда его ищут в Лон-ле-Сонье, он объявляется в Сен-Клоде... Утром его видят в Муарансе, а он в Шампаньоле, ну а к вечеру уже в Нозеруа. Я же говорю, капитан Лакюзон даже больше, чем человек, потому как найти его одновременно можно там, где есть шведы, *серые*, французы и прочие враги...

Мальчуган смолк.

«Да кто же он такой на самом деле, этот капитан? – задумался путник. – Что это за человек, который, будучи еще совсем молодым, окружил себя такой почти невыносимой славой и, подобно гомеровским богам, парит над землей в лучезарной дымке?..»

Вслед за тем господин, все такой же безмолвный и задумчивый, взялся дальше прокладывать себе путь сквозь непролазную чащобу.

И вот самая изнурительная часть путешествия закончилась.

Чаща раздалась и мелколесье сменилось высокими деревьями. Мало-помалу и те редели, сбиваясь вдали в отдельные купы.

Опустилась ночь, но в небе сияла луна – своим ярким синеватым светом она озаряла вершины уже близких гор – заснеженные пики Юрской гряды и самое плоскогорье, куда выбрался незнакомец со своим проводником.

На фоне освещенных лунным сиянием горных вершин темный провал лежавшего под их ногами ущелья казался еще более мрачным; но вскоре привыкший к темноте глаз уже мог различить стремительный водный поток, клубящийся белесым туманом вдоль излучин.

Склон – покруче островерхой кровли дома, – что спускался с плоскогорья в глубь ущелья, глядел на север и был сплошь завален снегом.

– Мессир, – молвил мальчуган, – здесь я вас оставляю.

– Что?! – вскричал в изумлении путник. – Ты меня бросаешь? Почему же?

– Потому, мессир, что там, впереди, Орсьер, а я ни за что на свете, ни за какие коврижки не пойду в Орсьер в полнолуние.

– А что такого страшного в твоём Орсьере?

– Там творится шабаш, – отвечал Никола Паже взволнованным, испуганным голосом.

Чужак улыбнулся.

Мальчуган этого не видел, но догадался.

– Мессир, – проговорил он, – такими вещами не шутят, особенно ночью. Иначе и беду недолго накликаешь!

– Но ведь мы условились, – продолжал чужак, – что ты ведешь меня до самого Сен-Клода и я плачу тебе два экю.

– Правда ваша, мессир, и уж коль я нарушаю свое обещание, вы вольны ничего мне не платить, я буду не в обиде.

– Тогда зачем ты обещал сопровождать меня, если собирался на полпути повернуть обратно?

– Я не думал, мессир, что мы задержимся в пути так долго, и совсем забыл, что нынче полнолуние.

– Да ну! И что теперь прикажешь мне делать, без проводника? Я не знаю этих мест и непременно заблужусь, а то и сверну себе шею, как напроорочил Жак Вернье.

– Мессир, – возразил мальчуган, – тут вам нечего бояться. Дальше дорога простая, почти что тракт, и я вам буду без надобности. Здесь только одно опасное место – то, где мы сейчас стоим. Вся загвоздка в ужасном спуске, вашему коню такой, пожалуй, не одолеть, да и от меня помощи ни на грош... А спуститесь в долину Морез, что у нас под ногами, так, считайте, самое трудное позади.

– Но там же на дне ущелья река?

– Да, Бьен... Идите вдоль нее до тех пор, пока не наткнетесь на мельницу. Если прислушаться, и отсюда слышать, как она скрипит крыльями.

– А дальше?

– За мельницей будет брод, аккурат напротив старой ивы, которая едва цепляется корнями за землю... в том месте и перейдете через речку – глубина там небольшая, от силы фут.

– Точно знаешь?



– Сам не раз переходил – мне воды там по колено. А когда переберетесь на другой берег, подниметесь на горный кряж и пойдете вдоль опушки ельника. Эта тропинка выведет вас к Лонгшомуа. А из Лонгшомуа в Сен-Клод ведет дорога. Только не забудьте, мессир, прочесть молитву, когда пойдете через Орсьер, вдоль общинных земель Жир, а завидите по левую руку яркий свет, так сразу же пускайте коня в галоп и скачите прочь без оглядки... этот свет и есть огонь шабаша.

– Давай сюда шапку, – велел путник.

– Вы что, решили все же заплатить мне два экю? – с простодушным удивлением спросил Никола Паже.

– Да. Вот, держи.

– Ах, мессир! – воскликнул мальчуган. – Я буду горячо молить Бога за вас.

– Ну что ж, – ответил молодой человек, уносясь мыслями к Эглантине, – попроси его избавить меня от самой горькой муки, какую только можно пережить... попроси, чтобы весть, которую мне сообщили сегодня, оказалась ложным слухом!

– Я попрошу его прямо сейчас... и завтра... и потом буду просить, мессир.

– Но где ты собираешься спать этой ночью? Ведь ты же не думаешь возвращаться в Шампаньоль?

– Я пойду в одно местечко, где местные прятались, когда сюда нагрянули шведы с французами, там полно соломы – хватит на целую постель.

– Где же это?

– В Эриссонских пещерах.

– Тогда ладно, доброй ночи, малыш, и удачи!

– А вам, мессир, доброго пути! И да хранит вас Бог!

С этими словами Никола Паже пошел прочь, размахивая своими длинными руками.

А незнакомец меж тем исследовал взглядом головокругительный спуск, который ему предстояло одолеть на пару с конем: склон казался тем более опасным, что был сплошь покрыт снегом.

Путешественник крепко обвил повод вокруг руки, которой придерживал благородное животное, и потянул его за собой. Однако конь, напуганный видом зиявшей перед ним мрачной бездны, долго упирался... потом наконец поддался и, раздувая от ужаса бока и ноздри, тронулся вниз.

Две трети спуска они одолели беспрепятственно, но на последней трети конь поскользнулся, попытался было устоять на насте, но не смог: передние ноги у него разъехались, потом подогнулись, и он стремительно покатился вниз, точно сани на русской горке, увлекая за собой хозяина, так и не выпустившего повода.

Они скатились на самое дно ущелья, и только благодаря случаю, а вернее, чуду, не пострадали – ни тот, ни другой.

Господин снова вскочил в седло с приятным, радостным чувством, впрочем, легко объяснимым, и направился напрямик к мельнице, собираясь дальше переправиться вброд через Бьен в том месте, которое указал ему Никола Паже, – напротив старой ивы.

Отыскав брод без особого труда, он был поражен тем, сколь точно мальчуган ему все описал: в том месте пенная стремнина едва доходила его коню до колен.

## IV. Лепинассу, предводитель разбойников

Столь удачная переправа показалась нашему путнику добрым знаком, и он не колеблясь взобрался на другой берег реки, хоть и крутой, но вполне одолимый, который переходил в противоположный склон ущелья.

Примерно с час ехал всадник по горному кряжу и опушке ельника, пока не поднялся на вершину, откуда в бледном свете луны разглядел кровли домов маленькой деревушки, разбросанной по склону лежавшей перед ним широкой и глубокой лощины.

То была деревня Лонгшомуа. Чтобы попасть туда, незнакомцу оставалось только спуститься вниз, что он и сделал без особого труда, поскольку тропинка, хоть и едва различимая, была пологая и свободная.

Чуть впереди, при въезде в деревушку, у опушки ельника, располагался дом, как две капли воды похожий на тот, что мы описали в прологе нашей книги, с тем лишь отличием, что огороженный сад располагался не вокруг него, а за ним. Дверь и окна дома выходили, таким образом, на дорогу.

Неизвестный путник выехал из непроницаемой тени скрывавших его, вместе с конем, густых еловых ветвей и оказался на открытом, а стало быть, освещенном пространстве, как вдруг услышал леденящий душу звук и резко осадил коня.

В этом звуке слились воедино и бряцание оружия, и невнятный шепот; время от времени его монотонность нарушали отчетливые возгласы и проклятия. Железный скрежет, шепоты и крики исходили как будто из того самого дома, расположенного шагах в сорока-пятидесяти. В обоих его окнах играли яркие блики.

В те времена, когда происходили описываемые нами исторические события, довольно было услышать и это, чтобы догадаться: в доме творится что-то ужасное, грозящее близкой смертью.

Всадник призадумался, не зная что делать, и решил было повернуть обратно, тем более что с его стороны было бы крайне безрассудно ввязываться очертя голову в опасный переплет, даже не представляя себе что к чему.

И он, конечно, повернул бы обратно, если бы не случилось то, что пригвоздило его к месту.

Высокий юноша, весьма изысканной наружности, чье лицо в лунном свете казалось прекрасным, мужественным и гордым, медленно и осторожно обойдя дом кругом, приблизился к одному из окон, откуда можно было заглянуть внутрь. Он застыл как вкопанный и стал прислушиваться, даже не подозревая, что за ним наблюдает наш незнакомец.

Через левую руку у него был переброшен плащ, а в правой он держал широкую серую фетровую шляпу с черным пером; он снял ее, чтобы лучше видеть и слышать. У юноши – поскольку он и впрямь был довольно молод – была красивая голова, которую вполне можно было бы сравнить с головой герцога д'Альбы<sup>16</sup>, увековеченного кистью Тициана. Его густые черные волосы локонами ниспадали на плечи; шелковистые черные усы обрамляли рот с подвижными, резко очерченными губами, открывавшими иногда сверкающие зубы. Кожа у молодого человека была не бледная – скорее смугловатая, с теплым оттенком, как у испанца из Севильи или Гранады; на выпуклом лбу проступала крупная вена, пересекавшая его от левой брови до кромки волос. Глаза, очень большие и яркие, казалось, сверкали из глубины глазниц под сильно выступавшими надбровными дугами.

---

<sup>16</sup> Альба, Фернандо Альварес де Толедо-и-Пименталь (1507–1582) – испанский государственный и военный деятель.

Мы уже упоминали об изысканной наружности новоявленного героя. Однако изящество отнюдь не исключало крепости. Стройная фигура юноши расширялась в груди и плечах – восхитительные пропорции говорили о заключенной в нем недюжинной силе.

На юноше были короткие, облегающие штаны черного сукна, прикрытые до середины бедер голенищами из мягкой кожи, они плотно обтягивали ноги, как бы подчеркивая их безупречную стройность, и спускались к башмакам на толстой кованой подошве. Камзол, такой же черный, как и штаны, был подпоясан кожаным ремнем, на котором висели короткий кинжал и длинноствольные пистолеты. Наконец, на черной кожаной портупее у юноши висела шпага, довольно длинная и тяжелая, с головкой эфеса в виде креста.

Понятно, что описанный нами герой стал свидетелем драматической сцены, дошедшей до своего апогея: на его взволнованном лице читались самые сильные, самые тягостные чувства.

Время от времени он вдруг натягивал шляпу обратно на голову, а руки его ложились на рукоятки пистолетов. При этом его насупленные брови сходились на лбу в форме зловещей подковы, как у героя «Редгонтлета»<sup>17</sup>, а глаза вспыхивали мрачным огнем; но уже через мгновение он снова лхнул к окну, лихорадочно, со все возрастающим вниманием прислушиваясь к происходящему по ту его сторону.

Между тем наш путник, притаившийся в тени елей, можно сказать, переживал те же самые чувства, что со всей полнотою отражались на замечательном лице черноволосого юноши, и даже проникся к нему внезапной, странной симпатией, объяснимой, впрочем, открытостью, отвагой и поистине рыцарской преданностью, запечатленными в его чертах.

Вдруг дом огласился ужасно пронзительным, дрожащим криком – криком предсмертной муки.

В тот же миг отблески света в окнах полыхнули необычайно ярко.

За зловещим криком последовала скорбная тишина. Но длилась она недолго.

Черноволосый юноша наконец решился.

Левой рукой он взялся за пистолет, а правой выхватил шпагу из ножен и, отступив на три-четыре шага назад, для большего разбега, ринулся в окно, рамы которого с треском сломались, а стекла разлетелись на множество осколков; в следующее мгновение он уже скрылся в доме.

Вслед за столь неожиданным вторжением тотчас послышался оглушительный гвалт, сопровождавшийся отборной бранью, яростными воплями, пистолетными выстрелами и свистом шпаги, безжалостно рассекавшей плоть и дробившей кости.

\* \* \*

А произошло вот что.

За полчаса до случившегося, в первой из двух комнат дома, принадлежавшего, прямо скажем, Жан-Клоду Просту, или, если угодно, капитану Лакюзону, на табурете у камелька, затопленного кореньями, сидел человек лет сорока, маленький и на редкость уродливый, медленно перебиравший четки длинными, узловатыми пальцами.

Этот человек, болезненного вида крестьянин, не способный ни к какому труду, нашел приют и хлеб по милости Лакюзона, проникшего к нему полным доверием и вверившего его попечению свой дом, где сам он бывал крайне редко.

Человека этого звали Бродягой.

Конечно, бесконечные десятки бусин четок, которые он благоговейно перебирал пальцами, производили на Бродягу усыпляющее действие, ибо веки его мало-помалу налились тяжестью, глаза закрылись, голова, клонившаяся то на одно плечо, то на другое, в конце концов упала на грудь, а четки в это же самое время выскользнули из рук. Он засыпал.

---

<sup>17</sup> «Редгонтлет, или Красная перчатка» (1824) – роман Вальтера Скотта.

Однако сильный стук в дверь внезапно вырвал его из сладостных объятий дремы.

– Кто там еще? – неуверенно спросил он и, поднявшись с табурета, направился к двери.

– Друг, – отвечали снаружи. – Окройте!

– У друзей есть имена, – возразил он. – Назовитесь, тогда открою.

– Вы меня не знаете, – отозвался снаружи голос, – я от капитана...

– Моего хозяина?

– Да.

– Тогда скажите пароль.

– Капитан называл его, да только я позабыл.

– Тем хуже для вас, я вам не открою, и ступайте своей дорогой.

– Говорю, мне нужно войти, тем более что капитан Лакюзон в опасности и я прибыл от его имени.

Столь решительный ответ поколебал решимость Бродяги.

Однако, прежде чем отворить дверь, он снял ее со старенького крючка, прибитого к стене парой гвоздей.

– Предупреждаю, – сказал он, берясь за щеколду изнутри, – предупреждаю, я вооружен. И ежели вы меня обманули, ежели пришли не от хозяина, вам несдобровать.

– Хорошо... хорошо, – последовал ответ, – договорились. Открывайте же скорей!

Лязгнула щеколда – и дверь отворилась.

В следующий миг в дом с невероятной стремительностью ворвалось человек восемь разбойничьей наружности, вооруженных до зубов и, на манер бретонских крестьян, облаченных в козьи шкуры поверх камзолов серого сукна.

Трое из них набросились на Бродягу, и уже через полминуты бедолага был разоружен, а руки его были скручены за спиной.

– Серые!.. – понуро проговорил он. – Пресвятая Дева Мария, это ж серые!

– Слово-то какое, старый плут! – отвечал человек громадного роста, настоящий Геркулес, видимо, главный над остальными.

Лицо у него было безобразным. Правую щеку, от уголка глаза, до нижней челюсти рассекал шрам, казавшийся глубокой фиолетовой складкой. Саблей же у него была отсечена и часть верхней губы, за которой проглядывали редкие острые зубы, как у хищного зверя.

Две страшные раны, полученные в прошлых стычках, служили своего рода характерной приметой этого человека, и даже дети по всей провинции знали, у кого такое лицо – со шрамом на щеке и изуродованной губой.

Потому-то Бродяга, глянув на говорившего, выкрикнул, а вернее, с хрипом выдавил одно единственное слово: «Лепинассу!»

То был и впрямь грозный Лепинассу – чудовище, у которого даже не было человеческого лица; это он на пару с другим разбойником – Чернявым – командовал шайками наймитов из Бресса и Бюге.

Услыхав, как Бродяга произнес его имя, Лепинассу изобразил жуткую ухмылку, горделивую и самодовольную, при этом его уродливая, рваная губа поднялась вверх.

– Ха-ха! – оскалился он. – Никак, признал меня... что ж, отлично... это облегчает дело, и я тому рад, тем более что время не терпит.

И, обращаясь к своей братии, он со зловещей усмешкой прибавил:

– Эй, вы там, затворите-ка дверь, или не видите, что мне нужно поболтать с этим славным малым?

Серые повиновались.

Лепинассу подсел к камельку, расположившись на том самом табурете, с которого только что поднялся Бродяга.

Он бросил шляпу со вздернутыми полями на длинный стол, стоявший посреди комнаты и, проведя рукой по своей пышной седеющей шевелюре, сказал крестьянину:

– Подойди-ка!

Но Бродяга не мог и шагу ступить: горемыка стучал зубами, ноги у него подкашивались – от страха он был ни жив ни мертв.

Тогда двое бандитов подхватили его под руки и грубо подтолкнули к Лепинассу.

Бродяга пошатнулся, точно пьяный, и, не устояв, повалился на колени.

– Лучшего положения перед тем, как отдать душу дьяволу, не придумаешь! – воскликнул великан. – А именно это и ждет тебя, если не будешь быстро и четко отвечать на вопросы, которые я собираюсь тебе задать.

– Мне ничего не ведомо, – удрученно проговорил крестьянин. – Можете не спрашивать, я навряд ли вам что скажу.

– Ах, выходит, ты ничего не знаешь!

– Нет, головой клянусь.

– Голова твоя сейчас мало чего стоит, да и клятва тебе едва ли что даст. Как звать-то тебя?

– Бродяга.

– Что ж, Бродяга, предупреждаю тебя, если ты и дальше будешь тянуть с ответами на мои вопросы, у меня найдется верный способ освежить тебе память. А чтобы ты скорей вспомнил все, что мне нужно, мои люди перешибут тебе шпагами хребет, так, что горб твой вырастет обратно в спину. А потом, когда я возьму нож, чтобы перерезать тебе глотку от уха до уха, уж будь уверен, язык у тебя развяжется сам собой.

Бродяга понуро огляделся кругом и повторил:

– Ничего я не знаю...

– Сейчас поглядим. Здесь есть тайник с деньгами. Где же он?

– Деньги... да откуда же им тут взяться? В доме пусто, хоть шаром покати... хозяин-то мой бедней церковной мыши.

– Зато местные дворяне богаты и ссужают его деньгами на борьбу с нами, уж мы-то знаем. Так где же эти денежки?

– Не знаю.

– Ах, не знаешь, тогда я сейчас тебе помогу вспомнить. Другой вопрос: где Лакюзон?

– Не знаю.

– А Варроз?

– Не знаю.

– А Маркиз?

– Не знаю.

– Стало быть, – заметил Лепинассу добродушным голосом, похожим на ласковое мурлыканье тигра, – ты и впрямь ничегошеньки не знаешь?

– Да ничего... ничего я не знаю!

– Неужели?

– О да... да, верно говорю. Клянусь Девой Марией, ничего я не знаю!

Лепинассу подал знак.

Один из его подручных, с обнаженной шпагой в руке, подошел к Бродяге и сунул острое клинка ему за ворот, между плеч, отчего крестьянин хрипло вскрикнул.

– Вы только поглядите... – угрожающе усмехнулся Лепинассу, – поглядите на этого взбесившегося пса! С него еще шкуру не успели содрать, а он уже воет воет!

В самом деле, шпага разбойника всего лишь распорола Бродяге камзол – от ворота до пояса, но, почувствовав леденящее прикосновение стали, бедолага решил, что ему распорол кожу.

– Посмотрим, что этот старый бирюк запоет совсем скоро, – продолжал Лепинассу.

Из-под распоротой пополам одежды, сползшей на пол с левого и правого плеча Бродяги, показались тщедушные плечи крестьянина и выступающий между ними горб.

При виде такой картины серых охватил приступ неподдельной радости – они тут же принялись обмениваться веселыми шутками.

– Ей-богу, – проговорил вожак, присоединяясь к общему веселью, – вот так урод! Это ж сущее милосердие – выпрямить такой хребет, кривой, как виноградная лоза. Так сделайте же столь благое дело, братцы! На том свете сие вам, как пить дать, зачтется.

Едкая шутка предводителя возымела бешеный успех у серых, и впрямь больших охотников до всяких остроумных выходов.

Обнажив шпаги, они обступили полукругом Бродягу и стали ждать сигнала вожака.

– Полагаю, наш простофиля, – заметил он крестьянину, – не преминет нас предупредить, когда к нему вернется память.

И, обращаясь уже к подручным, продолжал:

– Ну же, братцы, не подкачайте!

Тут одна шпага вскинулась и опустилась... потом другая, за нею третья – и так до тех пор, пока все семь клинков поочередно не обрушились плашмя на смуглую, точно пергамент, кожу несчастного; дальше все повторилось сызнова...

Вскоре каждая шпага оставляла по синеватому рубцу на коже... вскоре каждый клинок, отрываясь от плоти, взмывал вверх с ошметком кожи.

Бродяга сдавленно кричал, извиваясь змеей, будучи не в силах подняться с колен.

А Лепинассу меж тем все твердил:

– Так где же деньги? Где Лакюзон? Варроз? Маркиз?

Бродяга сквозь стоны отвечал одно и то же:

– Почему я знаю...

Тогда Лепинассу, снова обращаясь к серым, говорил:

– Давайте, братцы, валяйте дальше! Сами видите, горбище у него как торчал, так и торчит, а памяти как не было, так и нет.

И шпаги опять то вскидывались, то опускались с дьявольской методичностью и ужасающей скоростью.

Через мгновение сухие, свистящие удары, с каким шпаги мучителей обрушивались на спину жертвы, сменились другим звуком: теперь казалось, будто клинки хлестали по жиже, и после каждого удара она взрывалась красными брызгами, так, что серые, без усталости лупившие по багровому месиву то левой рукой, то правой, едва успевали смахивать капли крови со своих лиц.

Бродяга уже не кричал. Члены его свело судорогой. Глаза дико завращались в глазницах. И он ничком рухнул на пол.

## **V. О черноволосом юноше и белокуром молодом человеке, а также о правосудии капитана Лакюзона**

– Черт возьми! Вот дьявол! – проговорил Лепинассу. – Не дай бог, он издох – это не входит в мои планы.

Но мгновение подумав, он прибавил:

– Да брось! Разве от такой малости подышают? Наш плут, похоже, в обмороке, а может, притворяется... сейчас мы приведем его в чувство.

Следующий жест жоака объяснил его подручным точный смысл только что сказанных им слов. Главарь шайки указал на оцепенелое тело Бродяги и потом на стол, где лежала шляпа Лепинассу с тонким золотым галуном, служившим знаком начальнического отличия.

Серые подхватили несчастного, бесчувственного крестьянина, уложили его на стол и накрепко привязали веревками, коих у одного из них – того, который состоял при Лепинассу в той же должности, что Труазешель и Птит-Андре<sup>18</sup> при добром Людовике XI, было в избытке.

Бродяга все еще не пришел в себя.

– Ну же, – воскликнул Лепинассу, поднимаясь с табурета, с которого он не вставал во время всей предшествующей ужасной сцены, – ну же, пора бы дать нашему бедолаге нюхательной соли!

Та же ухмылка, вернее, тот же мерзкий оскал, о котором мы уже упоминали, как бы подкрепил его слова, придав им еще больше устрашающей убедительности.

Лепинассу извлек из-за пояса длинный каталонский нож и, подойдя к крестьянину, принялся чертить острием у него на груди причудливые знаки, стараясь, чтобы лезвие не слишком глубоко царапало кожу<sup>19</sup>.

Потекла кровь. Серые наблюдали за происходящим; они стучали ногами и хлопали в ладоши.

Тут острие ножа наткнулось на мышцу. Боль, понятно, была невыносимой, потому что Бродяга тотчас открыл глаза, как будто к мертвому телу поднесли Вольтов столб<sup>20</sup>, и из его кровоточащей груди вырвался глухой стон.

– Ну вот, – заметил Лепинассу, – вот мы и проснулись, милейший. И чувствуем себя живее всех живых, и много лучше, чем когда бы то ни было, не правда ли? Ну так что, к нам вернулась память? Вспомнили, где деньги? Вспомнили, где Лакюзон? И Варроз! И Маркиз! Тогда давайте наконец расскажем все доброму нашему другу Лепинассу.

Губы у крестьянина зашевелились, но не издали ни звука.

Однако ж и по движению его губ мучитель догадался, что Бродяге всего лишь не хватило сил произнести в очередной раз: «Не знаю...»

Лепинассу заскрежетал зубами: им овладела неопишуемая ярость.

– Ах, ты ничего не знаешь, – повторил он, – ах, ничегошеньки не ведаешь!

---

<sup>18</sup> Труазешель и Птит-Андре – прозвища палачей, подручных Тристана Отшельника, или Луи Тристана (начало XV века – около 1477), начальника королевской полиции Людовика XI (1423–1483), французского короля из династии Валуа, – героев романа Вальтера Скотта «Квентин Дорвард». Прозвища вышеупомянутых палачей, соответственно, означают «Три Ступени» и «Малыш Андре»; первым прозвищем палач обязан своей профессии – по трем ступеням осужденный на казнь поднимался на эшафот.

<sup>19</sup> Подобные отталкивающие сцены доподлинно соответствуют историческим фактам. И автор ощущал совершенно обоснованную необходимость их воспроизвести, дабы дать своим читателям как можно более полное представление об отвратительных жестокостях, какие чинили шведы и серые во время той долгой захватнической войны (примечание автора).

<sup>20</sup> Вольтов столб, или элемент Вольта, – первый гальванический элемент, устройство для получения электричества, применявшееся на заре электротехники; был изобретен в 1800 году итальянским физиком и физиологом Алессандро Вольта (1745–1827).

И лезвие ножа впилося на пару дюймов в правую руку несчастного, издавшего истошный вопль.

– А теперь знаешь? – спросил Лепинассу.

– Нет, нет, нет! – в отчаянии вскричал Бродяга. – Ничего я не знаю, ничего не ведаю!

Лепинассу проткнул ему левую руку так же, как перед тем правую, и снова спросил:

– Ну, теперь-то знаешь?

И снова Бродяга отвечал:

– Не знаю я ничего!

Рассеченное шрамом, безобразное, похожее на маску лицо Лепинассу сделалось мертвенно-бледным; клокотавшая внутри подлого мучителя ярость достигла предела.

Согнутые волосатые пальцы его крепкой руки приблизились к горлу крестьянина, чтобы, как видно, задушить несчастного, но Бродяге перед смертью надо было развязать язык.

И Лепинассу опустил руку.

– Здесь где-то должны быть вязанки хвороста, – сказал он своим подручным. – Найдите и принесите сюда.

Двое серых, достав из очага горящую головешку – вместо факела, отправились шарить по всему дому.

– Разуйте-ка его! – прибавил вожак, указывая на Бродягу, у которого ноги свисали с края стола.

Исполнить его волю не составило труда: на ногах у крестьянина были только грубошерстные чулки да громоздкие деревянные башмаки.

Тут вернулись двое подручных с огромной охапкой сухого терновника, который они нашли в подвале. Даже не спросив, что делать с этой охапкой, поскольку подобного рода пытки уже давно вошли у них в привычку, они свалили все на пол, под ноги Бродяге.

Лепинассу, сунув обратно за пояс окровавленный нож, которым он только что орудовал, выхватил из руки подручного горящую головешку и сказал крестьянину:

– Последний раз спрашиваю – слушай и отвечай! Где деньги? Где твой хозяин? Где полковник Варроз? И где преподобный Маркиз?

Склонясь над окровавленным телом Бродяги, готового вот-вот испустить последний вздох, он жадно прислушался.

Крестьянин закрыл глаза и молчал.

Лепинассу выждал какое-то время, потом, не говоря ни слова, наклонился ниже и поднес горящую головешку к охапке сушеного терновника – тот вспыхнул, как солома.

Еще через мгновение сверкающее пламя охватило Бродяге ноги.

И тогда несчастный пронзительно завопил не своим голосом: то был жуткий, душераздирающий предсмертный крик, который мы описали раньше.

Бедняга попытался вырваться с такой силой, что разорвал почти все веревки, которыми был связан, и, не переставая брыкаться, пролепетал:

– Потушите огонь... потушите, я все скажу.

Одним ударом ноги Лепинассу разметал кучу горящего терновника по полу.

Бродяга же слабеющим с каждым словом голосом продолжал:

– Что до денег и Лакюзона, знать не знаю... а Варроз с Маркизом...

Договорить он не успел.

В следующий миг оконная рама разлетелась вдребезги вместе со стеклом и черноволосый юноша, с пистолетом в одной руке и шпагой в другой, быстрее молнии обрушился на серых, остолбеневших от ужаса и недоумения.

Одного разбойника он уложил с первого же выстрела, а другого пригвоздил к краю стола шпагой, сверкавшей в его руке, как карающий меч архангела Рафаила; вслед за тем, выдернув окровавленную шпагу из пронзенной груди врага, он принялся молниеносно крушить бандитов



налево и направо, оградив руку со шпагой подвижной непроницаемой стальной преградой, озарявшейся время от времени смертоносными вспышками.

Кто-то из серых попытался было распластаться на полу, притворившись раненым, чтобы потом ползком подобраться к неприступному таинственному обидчику и нанести ему коварный удар снизу. Но юноша разгадал уловку, и в тот миг, когда разбойник оказался шагах в трех от него, он разможил преступнику голову рукояткой другого пистолета.

Теперь перед храбрым юношей осталось только пятеро противников, но среди них был великан Лепинассу, стоявший троих головорезов, по крайней мере по силе.

Незнакомец прислонился спиной к разверзшемуся оконному проему, чтобы не быть неожиданно атакованным сзади; к тому же таким образом он отрезал разбойникам путь к отступлению, ибо, как мы знаем, они заперли дверь изнутри на засов и в сумятице схватки даже не помышляли ее открыть, а если бы даже и вспомнили про нее, все равно им было к ней не подступиться, потому что на пути у них возникла разящая шпага юноши, чертившая в воздухе сверкающие круги.

Одному из серых все же удалось прорваться сквозь эту преграду, но он тут же упал и больше не поднялся.

Трое других опешили. А Лепинассу – напротив: к нему вернулось хладнокровие, и он трезво оценивал события.

– Он один, – воскликнул главарь разбойников, – а нас четверо. Прикончим же его как собаку. Смерть ему! Смерть!

И он выстрелил одновременно из двух пистолетов... Но руки у него дрожали – в незна-комца он не попал.

– Мерзавец! – крикнул ему юноша. – Да я тебя знаю. Ты Лепинассу. Ты свиреп, как волк, и труслив, как заяц. Ты привык убивать из-за угла. Так иди же ко мне. Давай сразимся один на один. Иди же! И если в твоей волосатой груди есть сердце, покажи его!

Но Лепинассу так и не двинулся с места, тогда молодой человек сам кинулся на него. Разбойник не отступил, он, не дрогнув, выдержал удар грозного врага.

И вот уже они вдвоем схлестнулись чуть ли не в рукопашной, пусть один и превосходил другого на целую голову. Хотя незнакомец тоже был роста немаленького, Лепинассу, как мы знаем, был настоящим великаном. Незнакомец наседали так яростно и стремительно, что не передать словами. Острие его шпаги, точно вспышка молнии, сверкало то у груди, то у лица великана, и единственное, что тому оставалось, так это отбиваться тяжелой рапирой от все учащавшихся ударов противника, которые и правда чередовались с молниеносной быстротой, как всполохи в грозном небе.

Для Лепинассу все кончилось бы плохо, останься он с противником один на один, ибо, вынужденный защищаться, он рано или поздно пропустил бы стремительный выпад, и тот поразил бы его в самое сердце.

Смекнув что к чему, громила снова крикнул своим подручным, которых осталось трое:

– Ну же, прохвосты вы эдакие, скорей на помощь! Видите, он совсем один. Атакуйте его сзади!

При этих словах серые воспряли духом и дружно ринулись на общего врага – но не как люди, а как рассвирепевшие волки.

Поединок становился неравным. Оградившись «железным кругом», парируя удары одновременно четырех клинков, юноша продолжал сражаться, но с отчаянием чувствовал, что уступает. «Ах, – сказал он себе, – вот-вот зазвучит по мне погребальный колокол. Смерть уже близка... Но, по крайней мере, я упокоюсь в могиле, обгазированной кровью».

И вот из последних сил он нанес страшный удар, какие щедро раздавали герои средневековых рыцарских романов, и один из разбойников рухнул к его ногам с разрубленной пополам головой.

Лепинассу и двое других попятнулись. Впрочем, передышка длилась недолго. Вскоре трое разбойников заметили, что силы у незнакомца на исходе, они видели, что его шатает из стороны в сторону и шпага его все больше разит пустоту – беспорядочно и как будто судорожно.

И с торжествующими криками они снова перешли в наступление.

Юноша вверил свою душу Господу и приготовился к смерти.

Но вместо смерти к нему пришло избавление.

Снаружи вдруг послышался окрик:

– Держись! Я здесь!..

В открытый оконный проем ворвался какой-то человек – он выстрелил одновременно из двух пистолетов и сразил наповал одного из серых, потом выхватил шпагу и, встав бок о бок с юношей, бросил Лепинассу:

– Теперь нас двое против двоих. Иди же сюда, если посмеешь!

Но Лепинассу не посмел.

Окно теперь оставалось незащищенным и открывало единственный путь к бегству. Лепинассу воспользовался этим – выскочил наружу и скрылся во мраке; за ним последовал и единственный уцелевший его подручный.

В низенькой комнате остались лежать шесть трупов. Пол был сплошь залит кровью, как на скотобойне. Бродяга, скорчившийся на столе, истерзанный, казалось, испустил дух.

Жуткая сцена резни, при которой мы присутствовали вместе с нашими читателями, длилась много короче, чем мы ее описывали. Всего лишь несколько минут понадобилось, чтобы превратить столько живых людей в бездыханных мертвецов.

Нам думается, вряд ли нужно уточнять, что новоявленный гость, пришедший как нельзя более кстати на выручку черноволосому юноше, был не кто иной, как путник, с которым мы успели познакомиться в трактире Жака Вернье и потом сопровождали его по затерянным тропам из Шампаньоля до Лонгшомуа.

Тот, которого он вырвал из лап смерти, протянул ему руку и с восхитительным простодушием сказал:

– Кто бы вы ни были, француз или франш-континец, испанец или швед, капитан Лакюзон отныне ваш до гробовой доски!

– Лакюзон?! – изумился наш путник. – Так вы и есть Лакюзон?

– Да, мессир.

– Кто бы сомневался, – продолжал незнакомец, обводя взглядом трупы, – чей еще клинок, кроме шпаги Лакюзона, способен на такое.

Вслед за тем он прибавил:

– Ах, капитан, должно быть, меня свела с вами моя счастливая звезда...

Лакюзон, рассмеявшись, его прервал:

– Ваша счастливая звезда! – повторил он. – А как быть с моей?.. Впрочем, полагаю, мессир, что наши звезды – сестры-близнецы, поскольку, не приди вы мне на выручку, моя звезда этой ночью закатилась бы несомненно. Но я прервал вас, прошу прощения. Вы как будто рады нашей встрече. Могу спросить почему?

– У меня к вам дело, капитан.

– Ко мне? – с некоторым удивлением воскликнул Лакюзон.

– Я собирался в Сен-Клоде, надеясь только там вас и найти или, по крайней мере, придумать способ снестись с вами.

– Что ж, мессир, я перед вами, и, думаю, не стоит повторять, что я всецело ваш и весь к вашим услугам.

– То, что я собираюсь вам рассказать, капитан, займет немало времени, а место, где мы находимся...

– Вы считаете его злополучным, не так ли? Ох уж мне эта скверная, гнусная война – вот вам ее результаты! Мы покинем этот дом, хоть он и мой, но прежде мне нужно исполнить страшный долг. Советую вам выйти первым, мессир, ибо я намерен свершить правосудие, а оно может показаться вам ужасным. Ступайте же, прошу.

– Зачем, капитан? Любое ваше действие может удивить меня, но осудить его я не посмею никогда...

– Будь по-вашему, мессир, в таком случае оставайтесь – будьте свидетелем тому, что сейчас здесь произойдет. И помните, я затеял великое дело и иду к святой цели... помните, измена, и только она, способна подорвать это дело и отвлечь меня от намеченной цели. И где бы я ни сталкивался с нею, я давяю ее своею кованой пятой решительно и безжалостно... Оставайтесь же, мессир, и не удивляйтесь, когда увидите меня в обличье обрекающего судьи и разящего палача. Мы живем в такое время и в такой стране, где расправа чинится без суда и следствия, и человеческая жизнь – всего лишь маленькая гирька на весах, меряющих судьбы целой провинции.

Эти слова и торжественность, с какой они были произнесены, показались путнику чрезвычайно любопытными. Какой измены страшился капитан? Какое ужасное правосудие он имел в виду? Какой еще драме должно было послужить сценой это залитое кровью жилище?..

Ответ на эти вопросы не заставил себя долго ждать.

Лакюзон подошел к столу, на котором лежало недвижимое, а может, уже бездыханное тело несчастного крестьянина, замученного серыми, подручными Лепинассу. Капитан одним махом рассек наполовину разорванные путы, удерживавшие тело, и, чуть коснувшись его острием шпаги, промолвил:

– Если ты мертв, тем лучше, а если жив – встань!

Заслышав знакомый голос, голос хозяина, Бродяга как будто начал приходить в себя.

Он слегка пошевелился, сомкнутые веки его приподнялись – и он признал Лакюзона.

Но вместо радости, которая, по всей видимости, должна была отобразиться на лице бедняги при виде того, кто избавил его от мучителей, черты его исказились от неопишемого ужаса.

В отчаянном усилии он приподнялся, сполз со стола, оказавшегося для него станком пыток, и пал на колени перед Лакюзонем, сложив руки в мольбе и шепча:

– Пощадите, хозяин! Во имя Спасителя рода человеческого, во имя всемилостивой пресвятой Девы Марии, простите! Я такого понатерпелся...

– Понатерпелся... и предал! – медленно, низким голосом ответил Лакюзон. – А измене нет прощения!

– О, хозяин, если б вы только знали...

– Ладно, скажи все, что ты хочешь мне сказать. Я твой судья и как судья обязан выслушать твое оправдание... если ты в силах оправдаться.

– Я держался, как только мог.

– А надо было до конца.

– Они кромсали мне шпагами плечи... но я ничего не сказал.

– Таков твой долг.

– Они протыкали мне кинжалами руки... и я снова ничего им не сказал.

– И это твой долг.

– Они исполосовали мне ножами всю грудь... и не слышали от меня ни слова.

– И все это твой долг.

– Они запалили костер у меня под ногами, – пролепетал Бродяга, – только тогда...

Он не договорил.

– И тогда, – закончил за него капитан, – у тебя развязался язык.

– Мне изменили силы, хозяин, я так намучился...

– А как же первохристиане? Ведь их обливали кипящей смолой и дегтем, обращали в живые факелы. Разве первохристиане страдали меньше твоего? – отвечал Лакюзон. – И, однако ж, они не отреклись от своего Бога, не изменили вере своей... Думаешь, жаркое пламя костра могло бы развязать мне язык? Думаешь, это принудило бы меня к измене?

– Нет, хозяин... о нет! Но вы же сильны... отважны, а я...

– Слаб и труслив, – закончил за него Лакюзон. – Ты это хочешь сказать, верно?

Бродяга опустил голову на исполосованную грудь.

– Я старый и дряхлый, – проговорил он совсем упавшим голосом.

– И это служит тебе оправданием? – громко воскликнул капитан. – Да ты сейчас наговариваешь на себя похлеще злейшего своего врага... Старый и дряхлый, говоришь? Стало быть, ради спасения своей жалкой душонки, ради короткого продления жизни в своем хилом, уродливом теле – и только ради этого ты собирался выдать Лепинассу и его приспешникам-разбойникам благороднейших людей, главных защитников нашего святого дела! Значит, не подоспей я вовремя... опоздай хоть на час, на полчаса, на несколько минут, и полковнику Варрозу вместе с преподобным Маркизом пришел бы конец, и все по твоей милости, ибо выдать сейчас их убежище означает их погубить... толкнуть на кинжал убийцы, на плаху. Вот что бы ты натворил, не окажись я рядом. Вот преступление, в котором я тебя обвиняю, ибо обличил тебя в том самолично. Ну, что ты на это скажешь?

Бродяга повалился Лакюзону в ноги, что-то невнятно, прерывисто бормоча, – единственное, что можно было все же разобрать из его невнятной речи, так это слово «пощада». Ужас и отчаяние лишили его рассудка.

– Ты предатель! – после короткого молчания продолжал Лакюзон. Тебя осудили и приговорили, и ты умрешь.

– Нет, нет, нет! – вскричал Бродяга, которого от этих слов, произнесенных ледяным тоном, на мгновение бросило в необоримую дрожь. – Я не хочу... не хочу умирать!

Он вскинулся с места и было рванул к двери, как будто собираясь дать деру. Но ослабшие ноги изменили ему – он упал и, в мольбе простирая руки к хозяину, забормотал сквозь слезы:

– Пощадите, пощадите!

– Ты умрешь, – повторил капитан, – так что вверх свою душу Богу.

С этими словами он слегка наклонился, выхватил из-за пояса у одного из убитых разбойников пистолет и разрядил его Бродяге в голову.

Благородный незнакомец вскричал от ужаса и тут же отвернулся.

Лакюзон приблизился к нему.

– Я предупреждал, – заметил он, – это страшно, но необходимо. Случись измене проникнуть в наши ряды, и борьба за Франш-Конте, считай, проиграна. Завтра сюда придут наши люди и предадут все тела земле, а я их предупрежу, что среди убитых они найдут и тело Бродяги, поплатившегося за измену от моей руки... А теперь, мессир, идемте прочь из этой комнаты: мне, как и вам, не терпится покинуть кровавую бойню. На дворе, думаю, ничто не мешает вам поведать мне, что за причины заставили вас отправиться на мои поиски в Сен-Клод.

– Разумеется, уже ничто не мешает, капитан, – ответил незнакомец.

И они вдвоем покинули мрачное жилище.

## VI. Рауль

– Где же ваш конь? – осведомился Лакюзон.

– Я привязал его к дереву, – ответил путник. – А вы что же, капитан, пешком?

– Нет, мою лошадь не нужно привязывать. Вот, глядите.

Лакюзон поднес два пальца к губам и негромко, протяжно свистнул.

В ответ тотчас послышался быстрый топот – и вскоре кобыла дивной берберийской масти забила копытом подле своего хозяина.

– Какая восхитительная лошадка! – воскликнул незнакомец.

– Это подарок Карла Лотарингского, – сказал капитан, запуская руку в длинную шелковистую гриву кобылы. – Она признает меня и любит, откликается на мой зов и подчиняется только мне. Непроходимые горные тропы одолевает так же уверенно и твердо, как будто идет по большой дороге, широкой и гладкой, как зеркало. Благодаря своей прыти она дважды или трижды спасала мне жизнь – прорывалась сквозь засады, откуда в нас градом летели пули, и я всякий раз оставался цел и невредим... Наконец, она мне больше, чем лошадь: она мне подруга.

Путнику захотелось приласкать кобылу, последовав примеру капитана, но лошадь молниеносно вскинулась на дыбы, не успев незнакомец коснуться рукой ее гибкой, прямой шеи; ноздри у нее вздулись, и она грозно, со злостью заржала.

– Осторожней! – живо бросил Лакюзон. – Со мной-то она ангел, а для чужаков сущий дьявол. Если мы пробудем вместе какое-то время, она к вам привыкнет, и тогда можете подходить к ней без всякой опаски. А пока ступайте за своим конем, мессир, – пора в путь, время не терпит... А меня ждут – надобно поспешать.

Они вдвоем вскочили в седла.

И некоторое время молча ехали бок о бок.

Незнакомец невольно попал под обаяние, исходившее от этого молодого красавца капитана, которому можно было дать от силы года двадцать два, – обаяние величайшей народной славы, какую он снискал себе среди горцев, прославив рыцарем-героем священной войны!.. И вот он здесь, рядом, простой и скромный, увенчанный сияющим ореолом почета, которого сам он как будто не замечал, при том что, однако, каждый камень, каждая ложбина, каждый дом в провинции слышали имя этого человека! Раз двадцать союзные войска Франции и Швеции бежали под натиском партизанских отрядов под водительством этого героического военачальника, который первым бросался в атаку и отступал последним. Против неодолимой отваги и неустанного упорства этого человека был совершенно бессилён и великий кардинал. Верный делу Испании, служившей для него оплотом свободы, Лакюзон отстаивал каждую пядь своей земли, каждую гору, каждую скалу. Ничто не могло выбить его из седла, обескуражить, сразить! Только он один олицетворял собой древний дух независимости, распалывший кровь целого народа. Лакюзон служил живым и гордым воплощением исконной свободы, знаменем которой он увенчал заснеженные вершины родных гор...

Чем больше незнакомец размышлял над всем этим, тем менее значительным казалось ему его собственное благородство. И стоит ли здесь говорить, что кичливая гордыня почти всегда принижает того, кто ей подвластен. А если тому нужны примеры и имена, то этих примеров и имен у меня не счесть.

Между тем капитан первым нарушил молчание.

– Мессир, – сказал он, – простите, если я нарушил ход глубоких мыслей, поглотивших вас целиком. Но вы предупреждали, что хотите со мной о многом поговорить, а мы скоро будем в краях, где надобно хранить молчание, ибо там за каждой скалой, за каждым кустом, за каждой елью может затаиться враг, а стало быть – опасность. Здесь, конечно, тоже небезопасно, но

риск, однако, не столь уж велик. Говорите же, мессир, я готов вас выслушать: человек, спасший мне жизнь, может всецело на меня положиться, если у него есть ко мне просьба, которую я в силах исполнить.

– Капитан, – ответил незнакомец с волнением, отчего голос его дрожал, – положение мое непростое, даже крайне затруднительное. Я должен задать вам один вопрос и открыть кое-какую тайну. Я ни о чем не собираюсь вас просить, а хочу лишь сообщить нечто очень важное, и не только для меня, но и для дела, которому вы служите и которому я тоже хотел бы послужить... но мне недостает смелости, а ждать я больше не в силах. Впрочем, от вашего ответа будет зависеть мое решение, что делать, равно как и мое будущее.

Незнакомец придержал коня.

– Надо же, вы заинтриговали меня до крайности, мессир! – воскликнул Лакюзон. – К тому же мы встречаемся с вами впервые, а ваш выговор и ваша внешность говорят, что вы не франш-контиец и не испанец. Каким же образом могу я одним только словом так или иначе повлиять на ваше будущее? Не понимаю.

– Капитан, – ответил незнакомец, – у вас есть двоюродная сестра...

– А! – бросил Лакюзон, вздрогнув так резко, что дернул за повод, который держал в левой руке, отчего кобыла его отскочила в сторону.

– Так вот, – продолжал незнакомец с сильным волнением, даже не замечая смятения собеседника, – еще в прошлом году ваша сестра жила вместе со своим отцом в маленьком домике в Шойском лесу, под Долем. Потом ваш дядюшка, Пьер Прост, вернулся в горы... вернулся один... а Эглантина, говорят, умерла. Это правда, капитан? Эглантина действительно отошла в мир иной?

Хотя в голосе незнакомца звучала мольба, Лакюзон, однако, медлил с ответом. Казалось, он обдумывал что-то, и складки, прорезавшие его чело, черные брови, сдвинутые в мучительном напряжении, как будто отражали жестокую борьбу, происходившую у него в душе.

– Мессир, – через какое-то время заговорил он, скорее спрашивая, нежели отвечая на вопрос, – если моя сестра и умерла, это наше семейное горе – ее отца и мое, единственных ее родственников, но вам-то какая печаль?

– Боже мой! – прошептал неизвестный, закрывая лицо руками и тщетно сиюсь подавить рыдания, подступившие к его устам из самого сердца. – Она умерла, теперь я вижу!

Отчаяние, с каким он произнес свои последние слова, снова повергли капитана в дрожь.

– Так вы были с нею знакомы? – живо спросил он.

– Ах! – вскричал незнакомец. – Еще бы!

– Может, вы любили ее?

– О да, да, любил... любил всей душой, всем сердцем... со всем неугасимым жаром первой и последней любви!

– А она... – проговорил Лакюзон, – она вас тоже любила?

– Она любила меня святой сестринской любовью... любила, как мне кажется, с невинной нежностью невесты.

Капитан уронил голову на грудь, две крупные слезы скатились по его внезапно побледневшим щекам – и на какое-то время этот сильный человек вдруг сделался слабым, точно ребенок. Одно лишь слово вмиг сорвало покров, сквозь который он прежде взирал на будущее: ибо в одночасье рухнула одна из величайших надежд всей его жизни. Теперь ему предстояло повергнуть одного из двух идолов, что были заключены в святилище его сердца. До сего дня, до сего часа Лакюзон делил свою душу пополам: большую ее половину он отдавал своей богине – независимости!

А другая принадлежала Эглантине.

Он провозглашал во весь голос то, что начертал и на своем прославленном знамени, – первую свою любовь из двух.

Вторую же, напротив, он прятал в самом потаенном, самом таинственном уголке своего сердца.

Он частенько говаривал себе:

«Когда наступит лето моей жизни, когда я добьюсь своей цели, когда свободной, сильной Франш-Конте будут больше не нужны защитники, когда мне, снова ставшему неустанным тружеником, останется только требовать плату за дневные труды, тогда, став самому себе хозяином и завоевав право повесить мою победоносную шпагу над камином... только тогда я признаюсь Эглантине в любви, которую так долго прятал, только тогда отдам ей эту некогда крепкую руку и это прославленное имя... и только тогда мы с нею, склонясь над детской колыбелью, предадим забвению кровавое прошлое, чтобы отныне помышлять лишь о счастливом будущем, воплощенном для нас в образах светловолосых головок наших спящих детишек...»

Вот о чем думал Лакюзон, когда, подобно молодому тигру, врывается в самую гущу вражеских батальонов, выкашивая их ряды, точно созревшие колосья... вот за какие безмятежные горизонты уносилась его душа, покуда его не знавшая устали рука грозно разила врагов направо и налево.

И вдруг все рухнуло.

Эглантина не любила его... Эглантина никогда не полюбила бы его... Эглантина любила другого!

Удар был жестокий, рана – мучительная, вот почему по бледным щекам этого храброго воина, как мы видели, стекли две слезы.

Но Лакюзон принадлежал к числу тех особых людей, чьи душа и тело, в случае надобности, делаются крепкими, как сталь, и велят сердцам стать нечувствительными, а нервам – железными.

– Тебе... – совсем тихо, но вдохновенно прошептал он, готовый к самопожертвованию, – тебе, святая свобода, только тебе отныне и всецело!..

Складки у него на лбу мигом разгладились, брови раздвинулись, голова вскинулась, и кровь ровно потекла по венам под смуглой кожей.

Капитан Лакюзон снова стал самим собой.

– Мессир, – сказал он, обращаясь к нашему незнакомцу, – вы спасли мне жизнь, и с моей стороны было бы черной неблагодарностью не положить конец вашему заблуждению и горю прямо сейчас. Эглантина жива!

– Ах! – воскликнул молодой человек, в лихорадочном исступлении схватив капитана за руку и прижимая ее к своему сердцу, – Я знал, да-да, предчувствия меня не обманывали... я знал, у меня остановилось бы сердце, если б оно перестало биться у Эглантины!..

– Но, – продолжал Лакюзон, – надеюсь, вы понимаете, мессир, что после того, как вы мне во всем признались, сказав, что любили Эглантину, а Эглантина любила вас, я вправе услышать от вас и другие признания, более полные... я вправе спросить, кто вы такой, каковы ваши чаяния и надежды.

– Да, разумеется, – у вас есть на то право, – живо ответил молодой человек, – я отлично это понимаю. Мне еще прежде очень хотелось рассказать вам о себе, но, пребывая в ужасных сомнениях, которые вы только что развеяли, я был просто не в силах сделать это.

– Что ж, мессир, теперь, когда силы к вам вернулись, я жду.

– Тогда я начинаю, – отозвался незнакомец, – и запомните, капитан, всему, что я вам расскажу, я могу представить доказательства... Так что ничему не удивляйтесь, сколь бы поразительным поначалу ни казался мой рассказ.

– Я еще совсем молод, – возразил Лакюзон, – но с тех пор как вступил в сознательный возраст, особенно последние года два, мне случалось видеть вещи, на первый взгляд, настолько невероятные, что сейчас удивить меня может разве только чудо. Но, даже если оно и будет

явлено мне, я стану уповать на всемогущего Господа, и уж он-то обережет меня от малейшего удивления.

– Еще несколько дней назад, – продолжал незнакомец, – меня звали Рауль Клеман, и я служил лейтенантом кавалерии под началом господина де Виллерау...

– Француз! – воскликнул Лакюзон, невольно хмурясь. – Значит, вы француз?

– Позвольте, я продолжу, капитан. Это вчера я был французом, как уже вам докладывал, а теперь скажу, кем я буду завтра. Так вот, завтра не будет никакого Рауля Клемана, французского офицера: его место займет франш-контийский барон Рауль де Шан-д'Ивер.

Заслышав это имя, капитан резко остановил лошадь и с нескрываемым недоумением воззрился на своего спутника, чье лицо, красивое и благородное, с мягкими и вместе с тем мужественными чертами, озаряло бледное сияние луны.

– Рауль де Шан-д'Ивер, – взволнованно повторил он. – Вы? Но это невозможно! Великий и могущественный род де Шан-д'Иверов, увы, угас... Последний барон погиб лет двадцать назад, а то и больше, вместе с единственным своим сыном, еще совсем младенцем, – погиб под дымящимися развалинами своего замка, охваченного пожаром.

– Капитан, – возразил путник, которого отныне мы будем называть Раулем, – даже чудо, как вы сами только что сказали, удивило бы вас меньше, вас, безропотно уповающего на покровительство всемогущего Господа. Доверьтесь же ему и ничему не удивляйтесь. А что до чуда, оно касается скорее меня... Я единственный сын последнего барона де Шан-д'Ивера.

– Мессир, – произнес Лакюзон, кладя руку на плечо своего собеседника, – заранее умоляю вас, поймите меня правильно и простите, если углядели что-то обидное для себя в моем сомнении. Невозможно вот так, одним словом, искоренить веру, которой предавался с давних пор, тем более что она подкреплена фактами очевидными и вполне точными. Полагаю, и даже уверен, что у вас и в мыслях нет меня обманывать, но что, если вас самого ввели в заблуждение? Как вам удалось уцелеть в том великом бедствии, что погубило барона де Шан-д'Ивера? Конечно, как я догадываюсь, вы скажете, что это верный слуга, презрев всякий страх, спас вас из огня...

– Верно, управляющий моего отца, порядочный человек по имени Марсель Клеман, и я долго считал себя его сыном. Но что тут удивительного и невозможного, капитан?

– Разумеется, ничего... все очень даже просто. Хотя, впрочем, не все.

– Что же?

– А вот что. Как же вышло, что этот ваш преданный управляющий, человек порядочный и верный слуга, вырвав вас, понятно, ценою собственной жизни, из пламени, охватившего ваш замок... как же он, вместо того чтобы кричать во все горло: «Я спас последнего отпрыска благородного рода де Шан-д'Иверов! Я спас наследника огромного состояния! Вот он, живехонький, хранящий и поддерживающий отныне свое достоинство среди великих франш-контийских баронов!» – скрыл вас во мраке, воспитал, как родного сына, дал вам свое имя... и только теперь, двадцать лет спустя, вы изволите претендовать на титул и наследие ваших предков? Согласитесь, мессир, это кажется невероятным. И среди тех, кому вам случится все это повторить, вы, боюсь, вряд ли найдете благодарных слушателей, которых сможете легко убедить в своей правоте.

– Капитан, – отвечал Рауль, – мне понятны ваши сомнения, и, вместо того чтобы счесть их оскорбительными, я охотно разделю бы их вместе с вами, если бы старый Марсель Клеман, мой приемный отец, не представил мне бесспорные доказательства, рассеявшие мрак, которым было окутано мое младенчество. И этот пылающий светоч истины скоро воссияет как вам, так и мне, но прежде одно только слово объяснит вам то, что вы считаете невероятным. Он, старый, добрый Марсель, оградил мою жизнь непроницаемым покровом тайны лишь затем, чтобы спасти меня, хрупкое дитя, от лютой ненависти всесильного врага. Эта ненависть распространялась на весь мой род, и целью ее было стереть мое имя, уничтожить мою семью.



Пожар в замке Шан-д'Ивер вспыхнул не случайно, а по злему умыслу. И отец мой погиб не по вине злой судьбы, а от руки убийцы.

– Убийцы?! – повторил Лакюзон, уже не пытаясь скрыть ни своего удивления, ни волнения.

– Да! – с жаром воскликнул Рауль. – И скоро я назову его имя. Но прежде вам следует узнать тайные причины совершенного злодейства, а уж потом – кто же был тот злодей. Итак, выслушайте меня, капитан, а дальше решайте сами, кто я такой – заурядный склочник, охочий до чужих имен, или же законный притязатель на достойное место среди равных...

## VII. Тристан де Шан-д'Ивер

Рауль начал свой рассказ...

Однако здесь, как мы полагаем, было бы полезнее на некоторое время прервать нашего героя и взять слово вместо него – в интересах нашего повествования.

Такая замена служит двумя целями.

Во-первых, это позволит нам уточнить и поставить на свое место некоторые факты и подробности, неведомые даже самому Раулю.

И во-вторых, это избавит нас от необходимости приводить частые вопросы и реплики капитана Лакюзона, поскольку они помешали бы плавному течению рассказа нашего молодого героя и явно не на пользу послужили бы ему, равно как и его слушателю, да и утомили бы нашего читателя.

Итак, барон Тристан де Шан-д'Ивер – отец Рауля – родился в 1586 году в огромном имении, принадлежавшем его роду во Франш-Конте, в округе Аваль; воспитание он получил весьма скромное, как все дворяне того времени; вслед за тем, будучи призванным ко двору Его Католического величества короля Испании, сообразно рангу, он вскоре получил в командование полк – и в родные края уже наезжал редко и ненадолго.

Тристан де Шан-д'Ивер по праву принадлежал к числу самых очаровательных кавалеристов своего времени. Успехи его были немалые, включая блистательные победы на любовном поприще; однако сердце его, жаждавшее, бесспорно, более сильных ощущений, неизменно оставалось свободным от мимолетных увлечений.

На двадцать пятом году жизни Тристан стал подумывать о женитьбе, но не по любви к какой-то женщине, а по желанию сохранить свой род, когда отец, будучи при смерти, призвал его во Франш-Конте.

Не успел Тристан приехать в отчий дом, как старику стало лучше, – смертельная опасность, пусть ненадолго, отступила.

Вынужденный задержаться на несколько недель в поместье барона де Шан-д'Ивера, Тристан чуть ли не все дни напролет предавался радостям псовой охоты в вековых лесах своих родовых угодий.

И вот однажды пополудни, готовясь загнать бедного оленя, который тщетно пытался скрыться в чаще от преследовавших его гончих, он вдруг услышал неподалеку пронзительные женские крики.

Тотчас же бросив охоту, Тристан пустил лошадь галопом в ту сторону, откуда доносились крики, и вскоре заметил девушку, которую с бешеной скоростью несла кобыла, а за несчастной, заметно отставая, следовали два оторопелых лакея – они кричали: «Стой! Стой!» – неустанно прищипывая своих лошадей, впрочем, без всякой надежды нагнать резвую беглянку-кобылу.

Мессир де Шан-д'Ивер, положившись на силы своей лошади чистых арабских кровей, которую он привез из Испании, и сократив путь по знакомым тропинкам, опередил строптивую кобылу и схватил ее под уздцы в тот самый миг, когда девушка, обезумев от страха и раскачиваясь в седле, едва не упала в обморок.

Кобыла, остановленная железной рукой, стала на дыбы, но подчинилась. Тристан, спешившись, живо подхватил на руки наездницу, и она, едва оказавшись на земле, лишилась чувств. Тогда молодой барон смог приглядеться к той, которую только что спас.

Она была совсем еще дитя – лет шестнадцати от роду, не больше, белокожая, словно лилия или как чистый горный снег, а волосы у нее были длинные, бархатисто-черные и мягкие, точно шелк. Глаза ее были закрыты, тень от длинных, каштанового цвета ресниц почти касалась верхних кромок скул, выступающих над бледными щеками.

Судя по роскошному наряду девушки, красоте ее лошади, ливреям ее лакеев, она принадлежала к высшему обществу и была не из бедных. Головку рукоятки хлыста, выпавшего из ее обмякшей руки, украшал рельефный герб. Но молодой барон не смог разглядеть, что это был за герб, потому что как раз в это время подросли двое лакеев.

Один из них, старый, седовласый слуга почтительной наружности, со взволнованным, перепуганным лицом, преклонил колено перед неподвижным телом хозяйки и воскликнул:

– Слава богу, наша барышня всего лишь испугалась!

Затем, он схватил Тристана за руки и, принявшись их целовать, прибавил:

– Благодарю вас, господин барон, ибо вы с Божьей помощью спасли наше дорогое дитя!

– Вы меня знаете? – с некоторым удивлением спросил молодой человек.

– Как же мне не знать господина барона? Мой хозяин – ближайший ваш сосед, он живет совсем неподалеку от замка де Шан-д'Ивер.

– А как зовут вашего хозяина?

– Граф де Миребэль.

– Ах! – отпрянув, промолвил Тристан.

И, спохватившись, продолжал:

– Значит, эта девушка...

– Мадемуазель Бланш, единственное дитя моего хозяина, одного из богатейших сеньоров во всем округе, впрочем, господину барону это должно быть хорошо известно.

– Надеюсь, последствия случившегося не будут серьезными, – вдруг с крайней холодностью проговорил Тристан. – Прошу засвидетельствовать вашей юной хозяйке мое посильное участие в происшествии, к счастью, совсем незначительном, жертвой коего она стала.

И, подобрав шляпу, которую он бросил на траву, господин де Шан-д'Ивер, направился к своей лошади, привязанной к дубу.

– Как, мессир, вы уже уходите? – вскричал старый слуга.

– Ну разумеется. А что мне тут делать, скажите на милость?

– Да вот... я думал... думал, господину барону было бы угодно взглянуть на ту, которую он избавил от смерти, когда она придет в себя.

– Ошибаетесь, дружище, – возразил Тристан. – Мадемуазель де Миребэль не нуждается ни в моих заботах, ни в моем присутствии. Так что отдаю ее на ваше попечение. И желаю всего хорошего!

С этими словами барон поставил ногу в стремя.

А теперь давайте объясним, почему он так повел себя в сложившихся обстоятельствах, тем более что поведение его, согласитесь, выглядит по меньшей мере странным, ведь он, подчеркнем, был человеком учтивым.

Объяснение наше простое.

Все дело в тысячу и один раз повторяющейся, бессмертной истории семей Монтекки и Капулетти. Вот уже не одно столетие бароны де Шан-д'Ивер и графы де Миребэль, ближайшие соседи и могущественные соперники, исполнившись обоюдной ненависти, враждовали меж собой: дрались на дуэли, силой похищали одних других и даже, что греха таить, убивали друг друга.

Воспитанный своим отцом в духе столь безотчетной, непостижимой ненависти, барон вдруг почувствовал неприязнь, оказавшись лицом к лицу с наследницей презираемого рода. Ему и в голову не приходило, что эта наследница, это шестнадцатилетнее дитя, совсем неповинна в замешенных на крови претензиях баронов де Шан-д'Ивер к графам де Миребэль. Он ощутил, как в его венах вскипела родовая ярость, и отвернулся – только и всего.

Впрочем, уехать он не уехал.

В тот миг, когда он, как мы помним, поставил ногу в стремя и схватился левой рукой за вьющуюся волнами гриву лошади, а правую положил на головку передней луки седла, мадемуазель де Миребэль очнулась и, глубоко вздохнув, открыла глаза.

Тристан обернулся.

При виде незнакомца Бланш зарделась, как цветок граната, и попыталась подняться. Но она была еще слаба – и снова упала наземь.

Привлеченный этим впечатляющим зрелищем, господинн де Шан-д'Ивер отпустил поводья, которые сжимал в руке, и подошел к девушке.

– Что случилось? – дрожащим голосом спросила Бланш, обращаясь к престарелому слуге. – Отчего я лежу тут на траве и у меня совсем нет сил, будто я ни жива ни мертва?

– Дорогая барышня, – ответил слуга с непринужденностью, свойственной старой прислуге и сближающей ее с хозяевами, – ваша кобыла увидела дикого зверя, испугалась и понесла вас через лес с такой прытью, что нам за нею было не угнаться. Да вы и сами перепугались и непременно упали бы, ударились о дерево и разбились, если б не господин барон, который перед вами: это он храбро перехватил вашу кобылу и остановил.

– Да-да, – с милой улыбкой проговорила Бланш, – кажется, я припоминаю.

Она с любопытством и признательностью взглянула на Тристана – и на щеках у нее и на лбу снова выступил застенчивый румянец; в порыве обворожительно простодушия она подала барону руку и промолвила доверчиво:

– О, спасибо, сударь... благодарю вас! Для батюшки было бы такое горе, разбейся я насмерть.

После короткого колебания Тристан принял тянувшуюся к нему милую ручку – и тут невольно на него нахлынул порыв новых чувств. Прикоснувшись к тонким белым пальцам девушки, он поднес их к губам с такой живостью, что она, вскрикнув, отдернула руку.

Тристан отпрянул на шаг и в смущении застыл как вкопанный перед этой красавицей, такой юной и такой невинной, а она смотрела ему в глаза с пленяющим выражением признательности и душевной чистоты.

Мадемуазель де Миребэль хоть и была все еще бледна, однако живая краска молодости мало-помалу начала проступать на бархатистой коже ее щек, а на губах у нее уже играла улыбка.

– Сударь... – молвила она.

И на мгновение запнулась.

– Что вам нужно от меня, мадемуазель? – спросил Тристан, стараясь говорить спокойно, но от частого сердцебиения голос у него слегка дрожал.

– Сударь, – повторила Бланш, снова подавая ему руку, просто и грациозно, – вы спасли мне жизнь...

Барон, готовый вновь припасть губами к надушенной перчатке, обтянувшей ручку девушки, вдруг остановился, так и не решившись ее поцеловать.

– Простите меня, – продолжала мадемуазель де Миребэль с ангельским выражением глаз, – согласитесь вы или нет, но кому как не вам я обязана тем, что по-прежнему вижу и эту зелень, такую прекрасную, и это солнце, такое ласковое. Когда лошадь понесла меня через лес, когда у меня голова пошла кругом, когда я бросила поводья и закрыла глаза, мне показалось, что я вот-вот умру, и тут передо мной возникает вы, мой спаситель. Назовите же ваше имя, сударь, чтобы я могла передать его моему батюшке, и уж мы с ним запоем его навек.

К последней просьбе юной красавицы нельзя было не прислушаться. Молодой барон поклонился и приоткрыл рот. Но, собираясь произнести свое имя, он на миг осекся, устремил настойчивый, едва ли не страстный взгляд на прелестное лицо Бланш, и глаза его внезапно погрустнели.

За это короткое мгновение в голове у него пронесся целый сонм мыслей. Он сказал себе, что еще никогда в жизни не испытывал к женщине столь сильного чувства, которое владело им сейчас. Он сказал себе, что как будто ничто не разделяет его с этой девушкой: ведь она ровня ему и по положению, и по состоянию – но при всем том, стоит ему произнести свое имя – и между ними тут же разверзнутся непреодолимые бездны. Он уже чуть ли не проклинал свое имя, которым так гордился, ибо считал чудовищно несправедливыми все эти родовые предрассудки, с которыми он мирился по сей день. Ему показалось, что какая-то неведомая беда должна разбить его будущее и нанести его сердцу глубокую, неизлечимую рану.

Между тем Бланш по-прежнему ждала ответа от Тристана, и на чистом ее лбу можно было прочесть удивление, вызванное этой необъяснимой заминкой.

Господин де Шан-д'Ивер не мог больше тянуть время. И, опустив глаза, прошептал свое имя. Такое впечатление, будто признавался он в чем-то постыдном, чуть ли не в преступлении, столько было в его голосе смущения и даже страха.

– Ах! – с нескрываемым испугом вскричала Бланш, услышав это имя.

Тристан тотчас угадал выражение, с каким этот короткий возглас сорвался с уст девушки. Он поднял глаза и снова посмотрел на мадемуазель де Миребэль.

В ее лице уже не было видно того нежного доброжелательства и той трогательной признательности, которыми оно лучилось только что. Теперь оно выражало лишь бессознательный, произвольный страх.

Тристан почувствовал острую боль – боль телесную и душевную, поразившую его в самое сердце. Он отступил на два-три шага и медленно, чуть слышно произнес:

– Вы сами этого хотели, мадемуазель. И Бог – свидетель, мне было бы лучше смолчать. По крайней мере, так у вас сохранилось бы доброе воспоминание о спасителе-незнакомце, а теперь я для вас человек, достойный лишь ненависти...

– Ненависти?.. – с жаром прервала его Бланш. – О, сударь!

– Ненависти, мадемуазель, – продолжал Тристан. – Мне хорошо известно, сколь ужасной бывает сила иных наследственных предубеждений, которые младенец впитывает с материнским молоком. И, прежде чем увидел вас, я, признаться, разделял эти предубеждения. По-вашему, я всего лишь враг вашей семьи, и мне жаль, очень жаль, но я тому несколько не удивляюсь. Теперь же, мадемуазель, мы с вами расстанемся и, разумеется, больше никогда не увидимся. Я уношу с собой счастливое чувство, потому что смог оказать вам совсем небольшую услугу, и смею молить вас, мадемуазель, чтобы вы навеки забыли мое имя и больше никогда обо мне не думали.

С этими словами барон низко поклонился девушке и поспешил к своей лошади – она ржала и била копытом.

Он поправил узду и поставил ногу в стремя.

– Прощайте, мадемуазель! – проговорил он, оглядываясь в последний раз.

– Прощайте! – отвечала Бланш так тихо, что Тристан ее не услышал.

Молодой человек, уже в седле, поднес руку ко лбу, будто силясь прогнать навязчивую мысль, затем вонзил шпоры в бока лошади – та подскочила как ошпаренная и, пустившись в галоп, точно молния, вместе со всадником скрылась за поворотом тропинки.

А Бланш, погруженная в раздумья, так и осталась лежать неподвижно под сенью величавого дуба.

Когда к ней подошел слуга и сказал: «Не угодно ли мадемуазель пересесть на лошадь? Господин граф, должно быть, уже беспокоится в связи с ее долгим отсутствием», – Бланш вздрогнула.

Она сделала резкое движение, словно очнувшись от сна, и, запинаясь, произнесла слова, которые, по-всему, отражали ход ее мыслей:

– Мой враг!.. Он... О нет!..

## VIII. Ромео и Джульетта

Рассказ Рауля, изложенный славному юноше, ставшему солдатом поневоле, на самом деле всего лишь вводный эпизод в нашей книге. Но не менее важный для внимательных читателей, ведь он связывает неразрывными узами времена, давно минувшие, и настоящие события. Это поможет объяснить, отчего мы вдруг перешли к изложению, впрочем весьма беглому, дивной и деликатной истории – истории о рождении взаимной любви барона Тристана де Шан-д’Ивера и мадемуазель Бланш де Миребэль, ибо, как нетрудно догадаться, на страницах нашей книги должна вот-вот возродиться шекспировская трагедия «Ромео и Джульетта», краткая, конечно, тем более что вместо обоюдной ненависти наши молодые люди прониклись любовью друг к другу.

Как бы там ни было, по дороге домой, под безобидным предлогом не пугать отца ничем рассказом об опасности, которой она подверглась, Бланш – что немаловажно – велела слугам хранить полное молчание об утренних событиях.

Но что если на самом деле она велела слугам держать рот на замке ради того, чтобы огрadyть имя Шан-д’Ивера, имя, уже ставшее ей как будто дорогим, от несправедливых упреков, которыми граф де Миребэль никогда не гнушался осыпать этот ненавистный ему род?

Пусть же проникательность моих прекрасных читательниц поможет им разрешить сей важный вопрос...

\* \* \*

Следующей ночью зарождающаяся любовь и старая родовая ненависть схлестнулись в душе Тристана в яростной схватке.

То он думал покинуть Франш-Конте навсегда – бежать, «унося в сердце своем стрелу, пронзившую его», как писал Бенсерад<sup>21</sup>.

То собирался броситься к ногам Бланш и открыться ей в неожиданной, необоримой любви, а после, на ее глазах, покончить с собой, если она не согласится разделить его неукротимую страсть.

Легко догадаться, что в подобном расположении духа Тристану было не до сна. И, когда в первых проблесках утренней зари стали меркнуть огоньки свечей, догоравших в массивных серебряных канделябрах, он все еще мерил спальню широкими шагами, так и не сомкнув глаз за всю ночь.

И вдруг сильное перевозбуждение улеглось в душе молодого человека – на смену ему пришла непередаваемая усталость, лишившая его последних сил. Тристан взглянул на портреты баронов, своих предков, особенно строго взиравших на него в холодном свете раннего утра, вгляделся в потускневшие портретные рамы, в суровые лица на холстах, и ему показалось, что безрассудная его страсть к дочери вражьего рода внезапно растворилась вместе с последними следами сумерек, и от этого на душе у него сделалось светло и радостно. «Какой же я дурак! – сказал он себе. – Прощайте, грезы, прощайте!»

И все утро напролет он без усталости твердил себе: какое счастье – не знать любви.

Он с легкостью вскочил на коня – в тот же час, что и накануне, только в этот раз совсем один и налегке, без доезжачих и охотничьего снаряжения, и отправился к тому месту, где несколько часов назад ему явился образ юной обольстительницы.

Каково же было его удивление и, скажем, счастье, когда сквозь полог зелени он разглядел девушку, сидевшую на том же месте – на траве, с цветком маргаритки в руке, и рассеянно

---

<sup>21</sup> Бенсерад, Исаак де (1612–1691) – французский салонный поэт и драматург.

теребившую ее лепестки. А чуть в стороне, на полянке, выгуливал двух лошадей ее старый седовласый слуга.

Тристан был от них еще далеко.

Заметив Бланш, он осадил коня, потом пустил его в глубь чащобы и там привязал к дереву; вслед за тем, уверенный, что никем не замечен, он, бесшумно проскользнув меж деревьями и кустарников, подобрался к мадемуазель Миребэль, совсем близко.

Бланш была бледна – ей как будто нездоровилось. Синеватые круги, резко очерченные под ее большими глазами, говорили о том, что она тоже провела бессонную ночь. Однако бледность и истома лишней раз подчеркивали выражение ее очаровательного личика, делая его более трогательным и нежным.

Тристан спросил себя: что если девушка переживала ту же внутреннюю борьбу, что и он? Ответ его, легко догадаться, был утвердительным. Он вдруг понял, что любим, и, напроочь позабыв о неодолимы́х препятствиях, которые, как ему казалось, должны были обратить их взаимную любовь в бесконечную муку, всецело отдался невинной радости безмолвного любования девушкой.

Так, хватило всего лишь нескольких часов, чтобы превратить нашего знатного сеньора, блистательного полковника, человека, чьи ратные успехи, равно как и удачи на любовном фронте, переходили из уст в уста при мадридском дворе... чтобы превратить этого баловня судьбы, прямо скажем, в робкого воздыхателя, не смеющего даже заговорить с предметом своей любви. И наши слова следует понимать буквально, поскольку Тристан оставил свой наблюдательный пост лишь после того, как девушка отправилась домой, так и не догадавшись, что тот, о ком она, возможно, думала, был совсем рядом.

С той поры прошла не одна неделя.

И каждый божий день господин де Шан-д'Ивер прятался неподалеку от той трижды благословенной полянки, куда приходила и Бланш, влекомая зовом сердца. А все вечера напролет он слонялся вокруг ограды парка Миребэлей, и стоило ему заприметить белое платье, порхающее в тени парковых аллей, как он тут же ретировался, полный надежд и опьяненный неземной радостью.

Между тем близился день, когда об этой любви, возраставшей час от часу, уже нельзя было молчать, как невозможно было и скрывать ее. Рано или поздно она должна была переполнить сердце и разлиться безудержным потоком.

Так на самом деле и случилось.

Однажды, когда теплый воздух наполнился благоуханием цветущей зелени и пением птиц, а солнечные лучи, проникавшие сквозь густой полог леса, высвечивали на земле причудливые узоры пожелтевших мхов и опавшей листвы, Бланш сидела под кроной старого дуба и по обыкновению перебирала пальцами лепестки маргаритки – цветка неискушенной любви, гадая, должно быть, на будущее.

Доверенный слуга отошел с лошадьми чуть дальше, чем обычно, и Бланш, оставшись наедине с собой, предавалась томным раздумьям, о чем нетрудно было догадаться по выражению ее глаз.

Тристан, томимый безудержным порывом, покинул свое убежище и направился прямо к девушке. Он трепетал, как робкий мальчишка, на лбу у него выступили капли пота. Плотный ковер мха приглушал его шаги.

– Мадемуазель, – едва выговорил он.

Бланш вздрогнула, вскинула голову. И, узнав господина де Шан-д'Ивера, вскрикнула от удивления; при этом щеки, шею и плечи у нее окутала дивная пурпурная дымка.

– Вы, сударь?... – промолвила она с нескрываемой застенчивостью. – Вы – здесь?.. О, зачем вы пришли? И что хотите мне сказать?

Таким образом невинная, ничего не подозревающая девушка невольно выдала тайну своих раздумий, ибо, если говорить по чести, появление Тристана в лесу было делом самым что ни на есть обычным, и удивляться, а тем более печалиться, тут было ни к чему.

– Вы спрашиваете, зачем я здесь, мадемуазель? – живо ответил молодой человек. – Я пришел сюда сегодня, как приходил каждый день после первой нашей встречи. Я хожу сюда и, прячась за деревьями, с безмолвным обожанием люблю вас. Вы спрашиваете, что я хочу вам сказать, мадемуазель, ну что же...

Тристан не договорил. Бланш поднялась и быстрым жестом призвала его замолчать.

– Довольно, сударь, – сказала она с достоинством, граничащим с надменностью, – боюсь, мне все ясно и я не в силах дальше слушать вас. Я, как видите, одна и ради себя и имени, которое ношу, не должна больше выслушивать ни единого слова... И еще прошу, сообразованно оставить меня сию же минуту. Как человек в высшей степени благородный вы не можете отказать девушке в просьбе, равной приказу.

– Вы правы, мадемуазель, – отвечал Тристан. – И раз вы того хотите, я умолкаю и ухожу. Но во имя Неба, во имя вашей матушки, которая печется о вас свыше, позвольте задать вам вопрос, один-единственный. От вашего ответа будет зависеть счастье или горе всей моей жизни.

– Я слушаю, сударь, – сказала Бланш.

– Отлично, – бросил Тристан тихим, взволнованным голосом. – Уж коль вы меня понимаете и знаете, что я вас люблю, позвольте мне прибегнуть ко всем возможным средствам и стереть последние следы безрассудной ненависти, разделяющей наши семьи... и, если я преуспею в столь благородном деле, позвольте мне надеяться...

– На что, сударь? – проговорила с запинкой Бланш.

– На вашу любовь, – ответил Тристан.

Он выговорил эти слова так тихо, что Бланш скорее угадала их, нежели расслышала.

– Сначала преуспейте, – сказала она дрожащим от волнения голосом. – Преуспейте, сударь, а уж тогда, в присутствии моего батюшки, я дам вам ответ.

В ее словах заключалось признание. Ну разумеется, в них угадывалась знаменитая реплика, которую старина Корнель вложил в уста Химены, возлюбленной Сиды<sup>22</sup>: «Будь победителем и завоюй меня».

Тристан все понял и, несмотря на предостерегающий жест Бланш, собрался сказать еще что-то, но тут он увидел, как девушка поднесла к губам маленькую серебряную свистульку и дважды свистнула на разный лад – пронзительно и протяжно.

В тот же миг из-за деревьев показалась фигура старого слуги, что есть мочи спешившего на сигнал хозяйки.

Тристан де Шан-д'Ивер отвесил мадемуазель Миребэль низкий поклон и скрылся в лесной чаще.

Бланш провожала его взглядом и, когда он исчез из вида, поднесла обе руки к груди, не в силах унять сердце, бившееся часто-часто.

Вот так трагическая история Монтекки и Капулетти возродилась с поразительной точностью в новом веке.

Джульетта любила Ромео!..

\* \* \*

На следующий день, незадолго до полудня, Тристан де Шан-д'Ивер предстал в дверях покоев своего отца.

---

<sup>22</sup> Химена и Сид – персонажи трагедии Пьера Корнеля «Сид».



Молодой человек облачился в мундир полковника – униформа смотрелась на нем так роскошно и замечательно, что можно было подумать, будто он собрался на прием к Его величеству королю Испании, в высокие кабинеты Эскуриала<sup>23</sup>.

Трое или четверо слуг, в парадных ливреях, сидевшие без дела в передней, при виде его тотчас же вскочили на ноги и почтительно склонились перед ним.

– Ступайте и спросите господина барона, сможет ли он принять меня прямо сейчас, – велел одному из них Тристан.

Слуга вышел, но не прошло и минуты, как он вернулся.

С утвердительным ответом.

Молодой человек миновал две гостиных перед отцовской спальней и прошел к нему.

Овальная спальня отличалась тем, что была обшита тисненой кордовской кожей, к тому же она славилась, причем по всей провинции, своим расписанным фресками, куполообразным потолком. Одну из стен украшал пергамент с тонко выписанным, в изящном обрамлении генеалогическим деревом Шан-д'Иверов, какие можно увидеть на миниатюрах средневековых требников.

На других стенах висели семейные портреты, увенчанные жемчужными баронскими коронами поверх двойных гербовых щитов.

В высоком, просторном дубовом кресле, обшитом декоративной тканью с изображениями родовых гербов, возлежал старик, кутавший свое исхудалое тело в полы домашнего халата черного бархата.

Несмотря на дряхлый вид, делавший его похожим на векового старца, барон де Шан-д'Ивер отнюдь не утратил величия и в выражении лица, и во взгляде. Его полностью полысевшая голова и выпуклый лоб, сверкавшие так, будто были выточены из слоновой кости, свидетельствовали о негибкой воле старика; брови его, белые как снег, еще сохранили пышность, и, когда он их хмурил, подобно величественному и бесстрастному Юпитеру, это непременно ввергало в трепет окружающих. Наконец, его глаза, неизменно зоркие и молодые, горели, точно угольки, озаряя бледное, изборожденное морщинами лицо.

Тристан подошел к старику, взял его руку и поднес к губам – скорее следуя церемониальному этикету, с каким придворный приближается к монарху, нежели с нежностью, какую сын питает к отцу.

– Добрый день, сударь мой, добрый день, – произнес барон после заведенного приветствия, – сказать по правде, я очень рад вас видеть. Но с чего бы вдруг вы облачились в этот мундир – что сие означает? Неужто ваш полк уже на подходе к воротам моего парка и вы вознамерились его возглавить?

– Мой полк довольно далеко отсюда, господин барон, – ответил Тристан, сиюсь изображать улыбку. – Я пришел к вам по весьма торжественному поводу, потому и решил выразить вам подобающее почтение, коего вы достойны и коему я ни за что не изменю.

– Вы правы, сударь, – с явным удовлетворением ответил барон, – и я счастлив признать, что вы не из тех неблагодарных чад, которые, не успев опериться, стремятся выйти из-под отеческого крыла. Итак, о чем речь?

– О счастье всей моей жизни.

– Ах-ах! И от чего же, скажите на милость, оно зависит? Вы молоды, обладаете весьма привлекательной наружностью, унаследовали от матери немалое состояние; вы полковник и отпрыск рода Шан-д'Иверов – и, полагаю, скоро, следом за мной, непременно станете грандом первого ранга. Так сыщется ли, говорите не таясь, в этом бренном мире дворянин более счастливый, чем вы?

---

<sup>23</sup> Эскуриаль – муниципалитет в Испании.

– Ваша правда, господин барон, и тем не менее только от вас зависит, насколько полным будет счастье, которое вы имеете в виду.

– Как это?

– Мне уже двадцать пять, – начал Тристан.

– Еще бы мне не знать! – воскликнул старик. – Прекрасный возраст, сударь мой, – я и сам не прочь вернуть себе ваши годы!

– Мне наскучили, вы даже не представляете как, все эти мимолетные романы и любовные приключения.

– Уже? – проговорил барон с удивленной и пренебрежительной усмешкой, означавшей только одно: «Черт возьми, сударь мой, да вы меня огорчаете! А я-то был побойчее вашего!»

Между тем Тристан продолжал:

– Мне хотелось бы изведать сладостные радости семейной жизни, невинные прелести законной и взаимной любви.

– Вы говорите, как простой пастух, сударь мой. К чему вы клоните?

– Вот к чему: я подумываю жениться.

– Вот и чудесно! Я был бы рад, если бы у меня в роду, в этом бренном мире, появился маленький отпрыск, прежде чем я отойду в мир иной, где предстану перед Господом. Так женитесь, сударь мой, женитесь себе на здоровье!

– Значит, вы согласны?

– Еще бы, ну разумеется! Вам остается подыскать себе достойную партию, только и всего. Все наследницы во Франш-Конте, хоть Бофремоны, хоть Сен-Морисы, хоть Тулонжоны, почли бы за честь носить ваше имя.

– Но, отец, быть может, вас вполне устроила бы невестка из тех, что я бы сам вам предложил?

– И думать забудьте! В ваших венах течет моя кровь, ваше происхождение столь благородно, что вам не пристало жениться на неровне.

– Неравный брак? Никогда, господин барон! И тем не менее я весь дрожу, не смея выговорить имя той, которую люблю.

– Которую вы любите! – оживился старик. – Неужто, сударь мой, вы влюблены?

– Да, отец, я полюбил на всю жизнь!

Тонкие губы барона искривились в усмешке; он пожал плечами и произнес:

– Мальчишка!

Конечно, было странно слышать из уст дряхлого старика подобную насмешку, тем более брошенную в адрес brave двадцатипятилетнего полковника в самом расцвете сил.

– Мальчишка! – повторил он.

А затем по-отечески снисходительно прибавил:

– Что ж, продолжайте, сударь мой. Стало быть, вы весь дрожите, не смея выговорить имя той, которую полюбили «на всю жизнь», – на последних словах он сделал ударение. – Неужели она недостойна вас?

– О! – воскликнул Тристан, теряя самообладание из-за столь ничтожного подозрения. – О, отец, и как вы только могли такое подумать? Даже ангелы не могут похвастать такой чистотой, какая свойственна моей обожаемой девочке.

– Замечательно! Хотелось бы в это верить, а узнать имя вашего ангела – уж тем более.

Тристан собрался с духом и с напускным спокойствием, которое разоблачал его взволнованный голос, сказал:

– Та, которую я люблю, отец, приходится единственной дочерью вашему соседу, графу Теобальду де Миребэлю.

## IX. Семейные портреты

Произнеся имя возлюбленной девушки, Тристан де Шан-д'Ивер ожидал бури: он приготовился к тому, что отец, придя в ярость, начнет метать громы и молнии – закатит умопомрачительную сцену.

Но ничуть не бывало.

Когда Тристан произнес имя Бланш, престарелый барон с трудом поднялся и, опершись одной рукой на трость с золотым набалдашником, а другой – на локоть сына, повлек молодого человека к красочному полотну с изображением генеалогического древа, о котором мы уже упоминали, – перед ним они оба остановились.

– Вы хорошо видите это, сударь мой, не так ли? – спросил барон, указуя на испещренный геральдическими знаками пергамент.

– Разумеется, – ответил Тристан.

– Знаете, что это за герб?

– Это наш герб, отец.

– А известно ли вам, что означают пышные ветви, что простираются от величественного ствола?

– наших родственников.

– Так как же, сударь мой, зная все это, вы бесстыдно попираете историю вашего рода?

– Но, отец, я думал...

– Вы плохо думали, сударь. И пусть вы никогда этого не знали, пусть забыли, я, как бы то ни было, готов прийти на помощь вашему невежеству и освежить вам память. Прошу, взгляните-ка сюда!

– Гляжу.

– И что вы видите?

– Красное пятнышко на нашем гербовом щите, ближе к середине генеалогического древа.

– А вон там?

– Такое же пятнышко.

– А чуть выше?

– Еще какие-то пятна.

– Сколько их, сочтите!

Помолчав какое-то время, Тристан отвечал:

– Я насчитал десять штук, отец.

– Их и в самом деле десять, сын мой. И все это – пятна крови. А теперь послушайте, как пролилась эта кровь.

– Пролилась – кровь? – повторил Тристан. – Но мне это известно, отец.

– Неважно, я вам напому. Итак, слушайте, сударь мой, и на сей раз зарубите себе на носу.

Тристан смолк и с мучительной покорностью склонил голову.

А старик меж тем продолжал:

– Так вот, в благословенном 1442 году Людовик, граф де Миребэль, по прозвищу Черный Кабан, отличавшийся отталкивающей наружностью и особенно – грубыми манерами и нравом, полюбил девушку из нашего рода – Батильду де Шан-д'Ивер, по прозвищу Белая Роза. И посватался за нее. Барон, предок мой, ему отказал, и тогда Черный Кабан, придя в ярость, поклялся отомстить.

Месть его не заставила себя долго ждать. Как-то раз, пока барон охотился в компании других сеньоров из округа, Черный Кабан с горсткой вооруженных подручных пробрался в

наш замок, похитил Батильду и увез против ее воли с собою на коне, а потом, спустя несколько часов, вернул обратно – обезображенную, обещанную, едва живую.

У Батильды было двое братьев. Один – вполне взрослый, другой – еще совсем юный. Старший брат, которого звали Тристан де Шан-д'Ивер, как вас, вызвал подлого Черного Кабана на поединок, но несмотря на божественную справедливость и правоту своего дела он пал от руки презренного похитителя.

И красное пятно, что перед вами, самое первое из всех, знаменует смерть брата Батильды. Минуло несколько лет.

Черный Кабан женился, и у него родился сын. Юный брат его первой жертвы успел повзрослеть и возмужать. В свою очередь он тоже дрался с Черным Кабаном – и в силу того, что был удачливее или ловчее своего противника, вышел из того поединка победителем, оставив свою доблестную шпагу в груди графа де Миребэля.

Однако ж с последующими поколениями наследственная ненависть не угасла в душах отпрысков двух наших родов. Сын Черного Кабана сражался в поединке с одним из сыновей того из наших, кто убил его отца.

Гектору де Шан-д'Иверу не повезло, и свидетельство тому – второе красное пятно или кровавый знак, коим помечено наше генеалогическое древо...

Мы не станем дальше слушать рассказ старого барона о поединках и мести, передававшейся от отца к сыну, точно роковое наследство, как в роду де Шан-д'Иверов, так и в семействе де Миребэлей.

Эта повесть, полная мрачных событий, заслуживающих внимания разве что самого барона и Тристана, может наскучить нашим читателям, если обременить ее чрезмерными подробностями.

Скажем только, что старик, ведя свое повествование, все больше оживлялся, и голос его, поначалу спокойный и размеренный, мало-помалу зазвучал с поистине юношеской горячностью. Глубокие морщины, избородившие его лицо, исчезли, как по волшебству, глаза пылали ненавистью и гневом.

– Итак, сударь мой, что вы теперь скажете? – спросил он, когда закончил рассказ.

– Ничего, отец, кроме того, что я, увы, не могу взять в толк, каким образом мадемуазель Бланш, эта шестнадцатилетняя девочка, по вашему мнению, может быть причастна к смертельным распрям между ее предками и вашими?

– Э! – с гневом и презрением вскричал барон. – Вы еще смеете поминать мадемуазель де Миребэль? И как только ее имя запечатлелось на ваших устах после того, что я вам растолковал?

– Потому что оно запечатлелось и в моем сердце, – с дерзновенной твердостью отвечал Тристан.

– Вырвите же его из сердца! – вскричал в ответ старик.

– Ни за что! Просите мою жизнь – и я ее отдам. Только не просите меня жертвовать любовью, я на это не пойду, отец.

Барон обратил на сына взгляд, полный изумления и вместе с тем негодования. Но Тристан не отвел глаза.

Тогда старик, в порыве чувств, продолжал:

– Вы говорите о любви, барон де Шан-д'Ивер. Но любовь ваша порочна! Позорна! Постыдна!

– Постыдна, отец? – воскликнул Тристан, у которого побелели губы.

– Повторяю, сударь, она порочна и постыдна, и потом, чего вы, в конце концов, добиваетесь?

– Я хочу жениться на мадемуазель де Миребэль.

– Что! Дать свое имя праправнучке Черного Кабана? Вручить ей свадебный букет, десятикратно обогащенный кровью ваших предков? Заглушить свадебными песнопениями крик мести и ненависти, что рвется из груди каждого отпрыска нашего рода при виде последышей от их проклятого семени? Неужто на это только и устремлены все ваши помыслы?

– Да, таковы мои помыслы, отец, а мадемуазель де Миребэль не в ответе за прошлое, и я люблю ее.

– Ах! – вскричал старик, у которого безудержно тряслись руки, а глаза метали молнии. – Лучше замолчите! Ни слова больше! Да будет вам известно, что сейчас вы заставляете меня усомниться в добродетели вашей матушки. Вы заставляете меня задуматься, уж не плод ли вы порочной любви, ибо, Богом клянусь, истинному Шан-д'Иверу такое и в голову не могло бы прийти.

– Отец, отец!.. – с мольбой в голосе шептал Тристан.

– Молчите! – твердил свое старик. – Молчите и слушайте. Вы носите мое имя, имя которое носили два десятка выдающихся представителей благороднейшего из родов, и носили весьма достойно. И мне, невзирая на вас и на что бы там ни было, надлежит сохранить его незапятнанным. Я никому не позволю, и уж тем более родному сыну, осквернить наш достойный герб. Властью отца, по святому праву, данному мне самим Господом, я запрещаю вам, сударь, впредь помышлять о презренных планах, о которых вы посмели со мной говорить. Я приказываю вам сегодня же покинуть замок и возвращаться в свой полк! Приказываю вам отречься от безрассудных мечтаний, плодов вашего больного воображения! И клянусь перед Богом и вашими предками, если вы не повинуетесь, я прокляну вас при жизни, а когда умру, то восстану из могилы и буду проклинать вас снова и снова.

Высказавшись наконец со все возрастающей горячностью, старый барон исчерпал обуревавшие его страшные чувства и без сил упал в кресло.

Тристан, белый точно призрак, с искаженным лицом, преклонил колено перед стариком и молвил:

– Благословите меня, отец! Я повинуюсь и уезжаю.

Мрачный взгляд барона озарила искра радости.

– Так вы исполните свой долг, сударь мой, – проговорил он. – Вы послушный сын. Поезжайте, благословляю вас и буду молить Бога, чтобы он хранил вас.

Тристан поднялся с колена, поцеловал обессиленную руку отца и покинул его покои, повторяя скорее в сердце, нежели вслух: «Если Бог слышит вас, отец, и я ему небезразличен, пусть он дарует мне скорую смерть!»

Через два часа молодой человек, сменив полковничий мундир на дорожное платье, вскочил на коня и умчался прочь из замка.

Но перед отъездом он наказал верному слуге тайно предать мадемуазель Бланш де Миребэль письмо.

Вот его содержание:

*«Мадемуазель,*

*Неумолимая судьба разделяет нас. Я уезжаю, не повидавшись с вами, ибо, если бы увидел вас еще раз, мне не хватило бы сил, чтобы уйти.*

*Я уезжаю, уввы, навсегда! Забудьте же меня, мадемуазель, и будьте счастливы. Вы были первой моей любовью и останетесь последним сердечным увлечением. Только ваше имя будут шептать мои мертвеющие губы...*

*Прощайте, мадемуазель! Возможно, разлученные на этой земле, мы однажды воссоединимся на Небесах. Еще раз прощайте... прощайте! Это последнее утешительное слово. Только оно придает мне сил дожидаться смерти, не торопя ее...»*

Прошел год. И в конце его старый барон де Шан-д'Ивер скончался, оставив сыну свой титул, огромное состояние и, еще того лучше, полную свободу действий. Тристан, сгоравший от любви, как никогда прежде, поспешил возвратиться во Франш-Конте.

За время его отсутствия случилось событие, повлекшее за собой беды ужасные и неисчислимы. Граф де Миребэль обещал руку своей дочери сиру Антиду де Монтегю, владельцу Замка Орла, одному из самых богатых и влиятельных сеньоров в округе Доль.

Однако Тристан, веря, что Бланш все еще любит его, попросил ее руки у графа де Миребэля. Тот отказал Тристану, и, поскольку его отказ вверг Бланш в отчаяние, между отцом и дочерью разыгралась сцена, очень похожая на ту, что мы описали на предыдущих страницах.

Чтобы поколебать упорство отца, Бланш прибегла к оружию, куда более действенному, чем мольбы и слезы. Этим оружием стала печаль, завладевшая девушкой всецело и не замедлившая сказаться на ее облике. Бланш перестала есть и спать. Она ни на что не жаловалась и все больше грустила, угасая на глазах, – можно было подумать, что смерть ходит за нею по пятам. Действительно, казалось, что жизненные соки совсем перестали питать ее.

Граф де Миребэль упорствовал так долго, как только мог, – впрочем, не очень долго, ибо он души не чаял в своем единственном чаде. Слово, данное сиру Антиду де Монтегю, было отозвано, и Тристан, признанный женихом Бланш, уже думал, что счастье его не за горами.

Граф де Миребэль назначил дату бракосочетания влюбленных. На том Тристан убыл в Безансон – за свадебными подарками.

Отсутствовал он всего лишь неделю, и тем не менее отъезд его оказался слишком долгим. Когда молодой барон вернулся в замок Шан-д'Ивер, то обнаружил, что все его надежды разбились в прах – и сгорели, точно молодое деревце, сраженное молнией.

Графа де Миребэля убили, а Бланш исчезла.

Дня за два до того, как Тристан, вернувшись домой, узнал об этой двойной беде, граф с дочерью прогуливались верхом по лесу, в сопровождении одного-единственного слуги, следовавшего чуть поодаль от них.

За поворотом извилистой дороги, пролежавший меж двух рядов вековых буков, отца с дочерью окружили всадники в монашеских рясах с опущенными капюшонами, скрывавшими их лица. Предводительствовал ими рослый мужчина. Он, как и его подручные, был облачен в рясу, но с опущенным на плечи капюшоном.

Его лицо скрывала *черная маска*.

Сир де Миребэль выхватил шпагу в тщетной попытке оказать сопротивление. И был тотчас сражен выстрелом из пистолета. Вслед за тем один из ряженных монахов передал бесчувственную Бланш на руки человека в черной маске, и захватчики во весь опор пустились прочь, оставив позади себя жуткий след – мертвое тело, истекающее кровью, которая тут же впитывалась в дорожную пыль.

Тристан в отчаянии подал жалобу в высший суд Доля, хотя, памятуя о непреложной судебной истине, логически и досконально объясняющей мотив всякого преступления: «ищи, кому это выгодно», – в убийстве отца и похищении его дочери он винил сира де Монтегю.

Ни одно вещественное доказательство не свидетельствовало против этого могущественного сеньора, но, с точки зрения морали, предположения были более чем основательны – и Антида де Монтегю по подозрению в совершенном злодеянии вызвали в суд, дабы выслушать его и, по возможности, снять с него всякие досужие подозрения.

Надменный сеньор не посмел открыто перечить верховным властям провинции. Он предстал перед судом – но предстал с плохо скрываемым возмущением и угрозами безжалостно отомстить Тристану де Шан-д'Иверу, вынудившему его самым постыдным образом испытать из уготованной ему горькой чаши.

Между тем, пока Антид де Монтегю защищался в суде с почти вызывающим высокомерием, власти распорядились учинить обыск в замке Орла. Вести дознание поручили полков-

нику Варрозу, одному из ближайших друзей Тристана, однако ж дело так ничем и не закончилось. Сир Монтегю, публично признанный невиновным в убийстве и похищении, вернулся в свое поместье и заперся там на два или три года, чтобы дать улечься страстям и чтобы все позабыли об этой темной истории, наделавшей много шума аж в трех округах. Казалось, он навсегда оставил планы мести, о которых объявил во всеуслышание. Поначалу всех удивляло подобное благодушное спокойствие, совсем не вязавшееся с хорошо известным нравом этого сеньора, а потом о нем и вовсе думать забыли.

Только время способно притупить душевную боль. Душа человеческая не создана для вечных терзаний. Сперва человеку, получившему сердечную рану, кажется, что она никогда не затянется, но проходят часы, дни, годы, и каждый проходящий час, день и год проливает каплю бальзама на кровоточащую рану, и она мало-помалу зарубцовывается.

Тристан де Шан-д'Ивер не стал исключением из общего правила. Сначала ему хотелось умереть, затем он пустил жизнь свою на самотек, ну а в довершение всего горечь, отчаяние и сожаления переросли в его душе в томную грусть.

Наконец, в один прекрасный день он сказал себе, что его род, увенчанный достославными именами предков, не должен на нем закончиться: ведь он был единственным и последним его представителем, – и вот спустя три года после исчезновения Бланш де Миребэль наш молодой барон женился на благородной и очаровательной девице по имени Одетта де Вобекур.

Однако союз их оказался несчастливым. Через одиннадцать месяцев после свадьбы новоиспеченная баронесса де Шан-д'Ивер скончалась, произведя на свет мальчика, получившего при крещении имя Рауль.

Похоже, десница Господня легла тяжким бременем на плечи Тристана.

Минуло два года. И вот однажды ночью, когда бушевала гроза, главные помещения замка Шан-д'Ивер внезапно полыхнули огнем, разгоравшимся с необоримой силой. Многие слуги тогда погибли, тщетно пытаясь остановить неукротимое пламя, подступавшее одновременно со всех сторон.

И на рассвете замок являл собой уже груды дымящихся развалин, среди которых должны были упокоиться тела отца и его сынишки.

Таким образом, род Шан-д'Иверов как будто оборвался раз и навсегда!

В округе говорили – ведь нужно ж было найти разумное объяснение столь сокрушительному бедствию, – что молния ударила в замок одновременно в двух-трех местах, а народная молва, как известно, гласит, что потушить такие пожары невозможно. Люди приняли подобное объяснение, впрочем, вполне убедительное, и воспоминания об этих роковых событиях вскоре растворились в заботах и хлопотах повседневной жизни.

## Х. Рауль и Лакюзон

Рауль закончил свой рассказ на том самом месте, на котором остановились и мы с вами.

– Ах, – воскликнул Лакюзон, – теперь все ясно! Стало быть, вы считаете сира Антида де Монтегю виновником пожара в замке Шан-д'Ивер и гибели барона Тристана, то есть, по вашему, этим двойным злодеянием он совершил двойную же месть.

– Да, – ответил молодой человек, – я считаю сира де Монтегю виновным. Я обвиняю его в поджоге и убийстве точно так же, как мой отец обвинял его в похищении и кровопролитии... и теперь, когда вы выслушали мою историю до конца, вы тоже будете считать его виновным и, подобно мне, признаете, что ни один, даже самый лютый злодей, вздернутый рукой палача, не заслуживает более позорной смерти, чем этот презренный сеньор!

– Продолжайте, – только и сказал Лакюзон.

И Рауль заговорил вновь:

– Накануне того злополучного дня, а вернее, проклятой ночи, управляющий моего отца, Марсель Клеман, о котором я уже говорил, вернулся вечером из соседней деревушки, где он навещал своих знакомцев. Он видел, как один из наших слуг, из самых младших в замке, долго разговаривал с каким-то подозрительным типом, который, когда они прощались, сунул ему в руку не то пригоршню серебряных монет, не то кошелек.

Марсель окликнул того слугу и стал расспрашивать.

Слуга ни в чем не признавался и на все вопросы отвечал дерзко.

Тогда Марсель объявил ему, что завтра же утром его рассчитает и отправит на все четыре стороны.

– До завтра еще дожить надобно... – усмехнулся в ответ слуга. – А в округе замков хватает, помимо вашего. Не тот, так другой.

Марсель, на беду, не придавал никакого значения его словам, хотя за их грубостью таилась не столько бравада, сколько угроза. Выпроводи он изменника в тот же час, злодеи-поджигатели наткнулись бы на запертые наглухо ворота, которые, как они надеялись, им откроют и в которые вместе с ними проникнет зло и беда.

Так вот, посреди ночи Марсель, которому мешали спать раскаты грома, вдруг заметил, как непроглядную темень вдруг озарила зловещая красная вспышка, и в следующее мгновение его спальню стало завлакивать густым, удушливым дымом.

В первую секунду ему почудилось, что в замок ударила молния, и он кинулся к окну...

Вход на передний двор замка охраняли трое или четверо человек в масках, и у каждого в одной руке была шпага, а в другой – факел. Еще несколько человек, тоже в масках, бегали точно угорелые по коридорам замка, потрясая факелами. И оставляя за собой огонь – везде и всюду.

Марсель был слугой верным и честным. Он родился в нашем доме и в некотором смысле был членом нашей семьи – он жизнь отдал бы за моего отца. Марсель живо оделся. Сунул за пояс охотничий нож, пистолеты и опрометью кинулся по потайной лестнице к покоям барона де Шан-д'Ивера.

И в тот самый миг, когда он собирался отдернуть гобелен, скрывавший одну из дверей в спальню хозяина, ему послышался хорошо знакомый голос, повергший его в трепет, – голос сира Антида де Монтегю, выкрикнувшего в припадке исступленной радости: «Волку заткнули пасть! Ищите теперь волчонка, перережьте ему глотку и бросьте в огонь! Пусть здесь все запылает ярким пламенем! Хочу, чтобы к завтрашнему утру камня на камне не осталось от их проклятого логова!»

В ответ послышались неразборчивые голоса, потом все стихло – топот удалился.



Марсель отдернул гобелен и вошел в спальню. Там уже все занялось огнем: и гардины, и драпировка и мебель. Вся спальня была объята пламенем.

Марсель бросился к отцовской постели. Она была пуста и вся в крови.

«Они убили его! – в отчаянии прошептал верный слуга. Что ж, тогда, по крайней мере, я спасу сына и его состояние».

Острием охотничьего ножа Марсель поддел замок занявшегося огнем шкафа, где, как он знал, хранились бесценные вещи. Из шкафа он извлек кованый ларчик и вместе с ним пробежал тайными проходами, известными только ему одному, ко мне в спальню, где я тихо и мирно спал в своей колыбели, и куда злодеи еще не добрались.

Он схватил меня в охапку прямо так, завернутого в одеяло, и, заслышав быстро приближающиеся шаги, сиганул из окна второго этажа в парк – при падении он вывихнул левую ногу. Но, невзирая на острую боль, ему достало мужества дотащиться с двойным грузом до густой купы деревьев, что росли посреди лужайки в двух-трех сотнях метров от замка. Там он затаился и стал ждать.

Тем временем пожар полыхал уже вовсю: подхваченные неумолимым натиском бури, языки пламени вздымались до самого неба, окрасившегося в цвет крови, и озаряли парк и всю округу яркими бликами, сродни отблескам солнца.

Вдруг на фоне сверкающей огненной стены возник силуэт рослого всадника – он восседал на великолепном скакуне, и на лице у него была черная маска... слышите, капитан, *черная маска!* Всадник осадил коня, повернулся лицом к огню и зычно крикнул: «Ну что, Тристан де Шан-д'Ивер, что ты теперь скажешь? Будешь ли ты и в этот раз жаловаться господам судейским в Доле?»

Вслед за тем, пустив коня в галоп он свернул за угол замка и скрылся из вида.

Этого человека, хоть он и был в маске, Марсель Клеман признал – не только по голосу, но и по стати, манерам и поведению. То был Антид де Монтегю – этот человек в черной маске. Убийца графа де Миребэля! Похититель Бланш! Губитель моего отца!

Мне остается прибавить еще самую малость, капитан... Надо мной нависла смертельная угроза. Мое имя стало для меня смертельным приговором. Узнай сир де Монтегю, что я жив, мне пришел бы конец. Марсель Клеман отлично это знал – и решил скрыть мое настоящее имя даже от меня самого. Он отвез меня во Францию, выдав за своего сына, и вбил мне в голову, что я француз.

В кованом ларчике, который этот примерный управляющий спас вместе со мной, лежали все бумаги, удостоверяющие титулы моих предков и мое собственное происхождение. Там же хранились и все семейные бриллианты Шан-д'Иверов, то есть почти что миллионное состояние.

Марсель воспитывал меня как благородного сеньора, а когда мне исполнилось восемнадцать, он отдал меня на воинскую службу. И я все считал его моим отцом. И вот спустя год, когда мой полк был направлен на осаду Доля, Марсель, не желая, чтобы я воевал против моих соотечественников, раскрыл мне тайну моего рождения. Он поведал мне все, что я рассказывал вам, передал все бумаги, удостоверявшие правоту его слов, и прибавил, что самому Господу было угодно осенить мое чело непреложной родовой печатью. Благодаря моему полному сходству с отцом, любой, кто когда-то знал Тристана де Шан-д'Ивера, глядя на меня, сказал бы, что это он собственной персоной.

Исполнив таким образом свой долг до конца, достойный слуга, достигший к тому времени весьма преклонного возраста, тихо почил, счастливый тем, что однажды я смогу вернуть себе имя и титул моих предков.

Итак, капитан, я рассказал вам историю моей жизни. Теперь вы все знаете. И мне остается лишь повторить то, что я говорил, когда начал свой рассказ: так кто же я, заурядный выдумщик или же истинный дворянин? Ответьте!

Лакюзон протянул Раулю руку.

– Барон де Шан-д’Ивер, – сказал он, – добро пожаловать в наши свободные горы! Франш-Конте, ваша колыбель, от моего имени приветствует вас и принимает как самое дорогое из своих чад. Я полагаюсь на вас, Рауль де Шан-д’Ивер, и рассчитываю, что вы последуете по героическим стопам Реджинальда, вашего предка, когда-то сражавшегося во главе вооруженных вассалов, солдат Генриха IV, и вышедшего победителем из той борьбы.

– Благодарю, капитан! – с воодушевлением отвечал молодой человек. – Я постараюсь оправдать ваше доверие и имя, которое ношу.

– Вы официально покинули французское войско?

– Да, вот уже месяц как я передал шпагу и командование в руки господина де Виллеруа.

– Хорошо. Нельзя оставлять за собой ни малейшей тени измены. А теперь у меня есть к вам вопрос.

– Задавайте, капитан. Я готов дать ответ на любой ваш вопрос.

– Откуда вы знаете Эглантину?

– Год назад, как я уже говорил, меня направили во Франш-Конте в составе французского войска. Я участвовал в осаде Доля. Маркиз де Виллеруа, при котором я состоял в адъютантах, иногда отряжал меня с поручениями к частям, рассредоточенным по деревням и лесам Шо. И как-то раз случай привел меня к дверям дома, где жили ваш дядюшка и ваша кузина. Так я увидел Эглантину. Так я ее полюбил. Старику отцу и его молодой дочери нужен был покровитель, который оградил бы их от оскорблений и посягательств солдатни, уверенной, что на вражеских землях дозволено все. И этим покровителем стал я. Мне посчастливилось оказать кое-какие услуги вашему дядюшке – он проникся ко мне благодарностью и принимал в своем доме как сына. То была счастливая пора. Эглантина без умолку говорила мне о вас, рассказывала, какой вы смелый, какой вы герой и какой благородный – истинно рыцарь; она породила в моем сердце горячее желание познакомиться с вами и подружиться. Но вот настал день расставания. Мне надлежало вместе с главнокомандующим возвращаться во Францию. И в тот день Эглантина сказала мне: «Если дом наш будет пуст, когда вы вернетесь, поезжайте в горы, разыщите капитана Лакюзона, моего двоюродного брата, и доверьтесь ему – расскажите все без утайки. Он меня очень любит и точно так же полюбит вас и проводит вас ко мне». На том я отбыл. А когда вернулся, несколько дней назад, то увидел, что дом ее действительно опустел. Тогда я вспомнил слова Эглантины. До меня дошли слухи, что вы в Сен-Клоде, и я отправился разыскивать вас там, а повстречал в Лонгшомуа.

– Но почему, – удивился Лакюзон, – ни дядюшка, ни его дочь ничего мне о вас не рассказывали?

– Боже мой, – воскликнул Рауль, – неужто она меня забыла!

– Нет, – возразил капитан, – если Эглантина кому и отдаст свое сердце, то раз и навсегда. Просто дядюшка с кузиной, полагая, что вы француз, не захотели мне признаться, что подружились с французом.

На мгновение воцарилась тишина, потом Лакюзон продолжал:

– Меня много чего беспокоит, Рауль. Вы хорошо все обдумали? Вы богаты и благородны, а Эглантина девушка бедная, не бог весть какого происхождения и обездоленная. К чему вам такая любовь?

– Не понимаю вас, капитан, – живо ответил Рауль. – К чему мне такая любовь? Ну конечно, тут нечего скрывать: я хочу, чтобы Эглантина стала баронессой де Шан-д’Ивер, если вы не считаете меня недостойным породниться с вами.

– Значит, вы просите у меня руки моей кузины?

– Определенно, и я сегодня же попрошу о том и ее отца, если увижу его. А нет – так завтра.

– Отныне, Рауль, – взволнованно проговорил капитан, – вы мне брат! Вам угодно знать, где сейчас Эглантина. И я скажу: она в Сен-Клоде – прячется и сию минуту, пока я разговариваю с вами, конечно, стоит на коленях перед распятием, омывая его слезами, и молит Бога спасти ее отца, который не сегодня завтра умрет.

– Умрет! – в изумлении повторил Рауль. – Кого вы имеете в виду? Кто должен вот-вот умереть?

– Пьер Прост.

– Умрет! – повторил про себя молодой человек. – Но почему? Он что, ранен? Или сражен настолько опасным недугом, что его не спасти и часы его уже сочтены?

– Он не ранен и не болен. Он в заточении. И обречен.

– Обречен!.. За какое же преступление его осудили и каким судом?

– Известно ли вам, что два дня тому Сен-Клод захватил сир де Гебриан со шведами?

– Да, я узнал об этом в Шампаньоле.

– Безоружный, не готовый к неожиданному вторжению город не мог защищаться – и был разграблен. Многие досточтимые горожане заплатили жизнью за тщетное сопротивление, других же бросили в темницу. И Пьер Прост, дядюшка мой, оказался в числе последних. Его арестовали как лазутчика – его, живое воплощение лояльности! Его заковали в цепи и бросили в «каменный мешок», в городском монастыре, а завтра утром поведут на казнь.

– Ах! – вскричал Рауль. – Они не посмеют!

Лакюзон пожал плечами.

– Не посмеют? – возразил он. – На площади Людовика XI уже сложили костер. Никто не верит в это нелепое обвинение в шпионаже, все думают, это лишь предлог. Кому-то угодно, чтобы мой дядя умер: он же мне родственник, и его смерть должна устроить горцев.

– Какая низость! – пробормотал Рауль.

– Да, низость. А от темницы до костра путь не такой уж близкий, как кажется.

– Так вы надеетесь спасти Пьера Проста?

– Эх, если б не надеялся, неужели, думаете, держался бы как ни в чем не бывало? Еще бы, конечно, надеюсь. Не я ли неизменно оказываюсь там, где нужно спасти безвинного и послужить святому делу?

– Возможно, я смогу вам помочь.

– Вы, Рауль?

– Да, я, и если не как франш-контийский барон Рауль де Шан-д'Ивер, то уж по крайней мере как французский офицер Рауль Клеман.

– Каким же образом?

– Я часто виделся с графом де Гебрианом у маркиза де Виллерау и знаком с ним. Он не знает, что я больше не состою в союзной ему армии. Зато он знает, что генерал некоторым образом мне благоволил и не откажет, если я попрошу его помиловать отца Эглантины.

– Помиловать! – горячо воскликнул Лакюзон. – Просить помилования!.. Умолять!.. Заклинать!.. Склонить голову перед шведом!.. Нет, нет, Рауль, никакого помилования такой-то ценой. Да и дядюшка счел бы, что это слишком дорогая плата за его жизнь. К тому же не на просьбы я уповаю, а на кое-что получше.

– И что вы намерены делать?

– Увидите...

Он снова смолк.

Вскоре двое всадники выехали на возвышенность, откуда их взору открылась великолепная картина, освещенная тусклым светом бледной луны. Перед ними простиралась долина, где лежал город Сен-Клод; на горизонте возвышались вековые ели, венчавшие хребты скал, словно мрачно-зеленые стены, что вздымались вдоль берегов Бьен до вершин Сетмонсея.

Дорога, которой наши путешественники намеревались следовать дальше, тянулась, резко поворачивая, вдоль склона горы Сенкетраль. В глубине долины чернела громада города.

– Рауль, – вдруг спросил Лакюзон, – когда вы думаете вернуть себе имя своих предков?

– Когда отомщу за отца, – ответил молодой человек. – Когда убийца-поджигатель сполна заплатит за кровь и пожар.

– Я ждал такого ответа. Кому же вы намерены мстить?

– Кому? – удивленно переспросил Рауль. – Кому же как не злодею, натворившему столько бед! Кому как не презренному Антиду де Монтегю! Я с огнем и мечом явлюсь к нему в Замок Орла, и вы мне поможете, правда же, брат? Ибо только так я смогу исполнить мой священный долг.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.